
ЛЕОНИД
ДОБЫЧИН
ЗАБЫТАЯ
КНИГА


ЗАБЫТАЯ
КНИГА

ЛЕОНИД ДОБЫЧИН

«ГОРОД ЭН»

Москва
«Советский писатель»
1935

«ВСТРЕЧИ С ЛИЗ»
Ленинград
«Мысль»
1927

«ПОРТРЕТ»
«Издательство писателей
в Ленинграде»
1931

ЛЕОНИД ДОБЫЧИН

ГОРОД ЭН

—

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84Р7
Д57

Подготовка текста, составление,
вступительная статья
Виктора Ерофеева

Художник
А. Семенов

Д $\frac{4702010201\text{-}355}{028(01)\text{-}89}$ без объявл.

ISBN 5-280-01289-0

НАСТОЯЩИЙ ПИСАТЕЛЬ

О Леониде Ивановиче Добычине (1896—1936) известно немного, но образ, складывающийся из обрывочных сведений, создается яркий и привлекательный. Это образ настоящего писателя: требовательного к себе, последовательного и бескомпромиссного. Судя по мемуарам современников (в частности, В. Каверина), Добычин, что называется, знал себе цену и весьма критически относился к творчеству многих собратьев по перу. Его саркастического ума побаивались писатели Ленинграда, где он прожил последние годы жизни. Из литературы того времени Добычин выделял прозу Тынянова и Зощенко, хотя к последнему у него были свои «придирки». Судя по тем же воспоминаниям, он довольно скептически относился к прозе Бабеля, считая ее «парфюмерной». Эта оценка позволяет почувствовать его отношение к роли формы в произведении, вопросу, игравшему большую роль в литературных дискуссиях 20-х годов. «Орнаментализм», свойственный прозе целого ряда писателей той поры (Пильняк, Замятин и др.), по всей видимости, не удовлетворял Добычина своей внешней эффектностью, и он оказался прав, поскольку в исторической перспективе именно это качество прозы 20-х годов, после яркой вспышки интереса к нему, стало быстро устаревать как стилистический прием: на нем

лежит печать времени, не позволяющая произведениям, написанным в этой манере, существовать независимо от него. Не пошел Добычин и путем зощенковского сказа, который, как можно, однако, предположить, казался ему прямолинейным приемом, отчуждающим автора от рассказчика таким образом, что автор оказывался в высокой, «чистой» позиции, а рассказчик — в «нечистой».

Л. И. Добычин прожил весьма короткую жизнь и написал сравнительно немного: два сборника рассказов и маленький роман — вот, собственно, и все. Его писательская «скупость» нуждается в расшифровке. Наверное, она связана с профессиональной требовательностью к себе, но не исключена и дополнительная интерпретация: он был писателем одной темы и настойчиво искал ее развитие, что было далеко не так просто.

Об этой теме он заявил уже в своем литературном дебюте, который выглядел обещающе. В 1924 году, в журнале «Русский современник», издававшемся при ближайшем участии Горького и зарекомендовавшем себя высоким уровнем печатавшихся в нем материалов, Добычин опубликовал рассказ «Встречи с Лиз».

Он пишет о пореволюционном захолустье, где улицы с прогнившими домиками уже торжественно переименованы, где в клубе штрафного батальона ставится «антирелигиозная» пьеса, где романтический герой Кукин идет в библиотеку, чтобы взять «что-нибудь революционное», но значение этих преобразований, по мысли Добычина, остается внешним, не затрагивая основ сознания, которое оперирует старыми вековечными понятиями (моченые яблоки торговок, голубой таз с желтыми цветами, сравнение сетки с кадилом — все это не случайно; все это не только приметы быта, но и непоколебимые устои жизни).

Раздвоенность вообще характерна для атмосферы добычинских рассказов, где сошлись два мира со своими укладами: церквами, кадилами и — революционными

маршами, но не для героического противостояния — так кажется рьяным утопистам, — а для оппортунистического сожительства. Обыватель, чувствуя силу власти, рад нарядиться в новые одежды, с удовольствием разучивает новый лексикон, подражает манерам незнакомого времени.

Позиция Добычина может сойти за изображение «гримас» нэпа, примелькавшееся в литературе «попутчиков», однако в этом маскараде автор видит нечто большее. Его нарастающий конфликт со временем связан с невозмутимостью повествователя-наблюдателя, который, однако, с внутренним напряжением, завуалированным иронией, следит за процессом перерождения обывателя.

Сомнения, охватывающие писателя, как это ни странно на первый взгляд, проявляются в том значении, которое имеет в его творчестве стихия воды: она обнажает не только тела, но и души, она заманчива и опасна, она эротична и смертоносна. Стихия воды не явно, но определенно противостоит стихии огня, революционному пламени, стихии преобразования. Вода заливает весь этот огонь.

В рассказе «Ерыгин» герой похож на Кукина (вообще у Добычина — «взаимозаменяемые» персонажи), только он метит выше — в писатели. Его поддерживают, поощряют, хотя содержание его «революционных» рассказов откровенно халтурно. Здесь редкий случай обнажения позиции самого автора, который не скрывает своего сарказма по отношению к литературному приспособленчеству. (В скобках замечу, что рассказы Добычина в основном названы по имени или фамилии героев: «Козлова», «Ерыгин», «Савкина», «Лидия», «Сорокина», «Лешка», «Конопатчикова» — таков почти полный состав первой книжки Добычина «Встречи с Лиз», вышедшей в 1927 году. Роль имени у писателя огромна, непонятно даже, герой ли представляет свое имя или же

имя представляет героя; фамилии — «говорящие», хотя и не так откровенно, как у Гоголя, — они создают атмосферу тоски и уродства жизни; в этом плане они поистине онтологичны.)

На выход сборника «Встречи с Лиз» сочувственной рецензией откликнулся известный литературовед Н. Степанов (Звезда, 1927, № 11). Критик находит оригинальность рассказов «в их стилистической манере», видит в них «обрывки хроники, где случайные и, казалось, ненужные подробности (убедительные своей бытовой «фотографичностью») дают почти бессюжетные «картины» провинциальной жизни». В качестве стилистической особенности Добычина он выделяет: почти «беспредметность», недоговоренность, отсутствие каких-либо переходов от одного момента повествования к другому, иллюзию объективности «случайных записей» — и отмечает, что «события, люди и вещи у него уравнены». У Н. Степанова достаточно точные наблюдения, но он несколько суженно толкует его прозу в плане «бытоописания». Для Добычина быт, конечно же, лишь отправная точка философского осмысления жизни, в которой много, по его понятиям, чистого абсурда.

Новый прозаик оказался непростым орешком для критики. Даже Н. Степанов обманулся псевдобытописательством. Другие критики, вообще не вдаваясь в детали, увидели в прозе Добычина тяжбу с эпохой. В 1931 году, в связи с публикацией второго сборника рассказов «Портрет», О. Резник писал в «Литературной газете» (1931, № 10) в рецензии под названием «Позорная книга»: «...увечные герои и утопленники наводняют книгу... Конечно же, речь идет об обывателях, мещанах, остатках и объедках мелкобуржуазного мира, но, по Добычину, мир заполнен исключительно зловонием, копотью, смрадом, составляющим печать эпохи...»

Сборник «Портрет» больше чем наполовину состоит из рассказов предыдущего сборника, однако в таких про-

изведениях, как рассказы «Пожалуйста», «Сад» и особенно «Портрет», чувствуется действительно что-то новое по сравнению с прошлой книгой.

«Сад» заполнен неологизмами эпохи — они как бы сами по себе и составляют содержание рассказа: делегатки, профуполномоченный, окрэспеэс, работпрос, медсантруд, пенсионерка, отсекр, окрэмбеит, конартдив, ассенобоз, волейбольщик и, наконец, культотдельша, которая требует от купальщиков, плещущихся в темноте (и снова стихия воды!), — «чтобы все были в трусах». И посреди этого словосада стоит поэтесса Липец, чьи стихи напечатаны в сегодняшней газете:

гудками встречен день. Трудящиеся...

«Портрет», в сущности, уже не рассказ, а эскиз, подготовка к роману. Впервые от объективного повествования Добычин переходит к повествованию от «я» героя, причем в «Портрете» это девичье «я», подростковый взгляд, неизбежно остраненный и свойственный будущему роману.

«— Вы чуждая, — сказала Прохорова, — элементка, но вы мне нравитесь. — Я рада, — благодарила я». Нетрудно понять злобу О. Резника: у Добычина в 1931 году право на голос получил «чуждый элемент», да еще милый, да еще по-девичьи влюбленный, не кто-нибудь, а дочь врача.

Эпоха отменила все чудеса, чтобы самой стать чудом. Даже магия обязана быть научной. Как не вспомнить М. Булгакова, читая в «Портрете»: «Али-Вали отрезал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.

— Не чудо, а наука, — пояснил он. — Чудес нет».

Экзистенциальный конфликт Добычина с миром О. Резник вульгарно просто свел к идеологическому конфликту с эпохой. Он считал, что «зловоние, копоть

и смрад» составляют у писателя именно «печать эпохи». Как бы то ни было, Добычин шел против течения. Он не только не скрывал своих сомнений, но, по сути дела, ставил их в центр своих философских раздумий. Он полагал, что оправдается честностью: его беспристрастный взгляд послужит эпохе, явится как бы предостережением против излишне оптимистического представления о человеческой природе. Но эпоха была охвачена энтузиазмом жизненного, общественного переустройства. На этом фоне Добычин действительно выглядел «белой вороной»; его спокойная бестенденциозность казалась пределом пессимизма и негативной тенденциозности. Стилистические нюансы не играли никакой роли. Добычин был решительно вытеснен на окраины «несвоевременной литературы» точно так же, как и обэриуты[1] со своей «подозрительной» заумью.

Но он не сразу сдался, не перестал писать и даже печататься. Не исключено, что «Город Эн» был последним «формалистическим» с точки зрения официозной критики романом, «проскочившим» в печать буквально накануне повсеместной борьбы с формалистами (известнейшая статья «Сумбур вместо музыки» появилась в январе 1936 года). Неудивительно, что реакция на «свежий» образчик «формализма» была особенно уничтожающей и уничижающей: «Неприятный, надуманный стиль расцветает на благодатной для этого почве — натуралистической, безразлично поданной семейной хронике рассказчика, — писала Е. Поволоцкая... — Вывод ясен: «Город Эн» — вещь сугубо формалистичная, бездумная и никчемная. Формализм тут законно сочета-

[1] ОБЭРИУ — Общество Реального Искусства — литературная группа, существовавшая в Ленинграде в 1927 — нач. 30-х гг., в которую входили К. К. Вагинов, А. И. Введенский, Н. А. Заболоцкий, Д. Жарме и др.

ется с натурализмом» (Литературное обозрение, 1936, № 5).

В романе Добычин снял конфликт двух миров, обратившись к старому миру. Живописность конфликта его более не увлекала, и дело объяснялось, видимо, не только быстро ухудшавшимися внешними обстоятельствами, но и внутренними причинами: писатель хотел углубиться в сущность неустанно исследуемой им проблемы: парадоксальности и двойственности человеческой жизни, наличия в ней некой нормы и в то же время вопиющего ее отсутствия.

Добычин написал автобиографическое произведение, в котором довел до определенной чистоты (с точки зрения поэтики) идею «нейтрального письма», пытаясь найти ответ, исходя из результатов художественного анализа. Его «нейтральность» была более последовательной и являлась редким случаем в русской литературе, гордящейся своей нравственной «тенденциозностью».

У Добычина было много русских предшественников, писавших на тему провинциальной жизни. Он называет в романе Гоголя и Чехова, причем повествователь отмечает, что, когда он прочел чеховскую «Степь», ему показалось, будто он сам ее написал. О гоголевских героях постоянно вспоминается в романе, само название которого заимствовано из «Мертвых душ». Связь с Джойсом, о которой говорила враждебная Добычину критика середины 30-х годов, нуждается в доказательстве; скорее всего, он сопоставлялся с Джойсом по общему негативному признаку: как не надо писать. Более отчетлива связь с «Мелким бесом» Ф. Сологуба; хотя «Город Эн» полностью лишен «символистского» уровня, взгляд Добычина на человеческую природу и на возможности ее трансформации сопоставим с сологубовским. Во всяком случае, если у Чехова нравственная оценка событий скрыта «под» объективным слоем повествования (такое сокрытие дает на самом деле большой

моральный эффект, так как читатель будто выводит эту оценку сам, без помощи автора), то у Сологуба эта оценка вообще «смазана» тем, что жизнь изменить нельзя; от нее можно лишь сбежать в иное измерение.

У Добычина такого измерения нет: жизнь тождественна самой себе, от нее не сбежишь. В результате провинция оказывается большим, чем просто провинция: это образ «человеческой комедии», в которой концы не сходятся с концами, реакции людей на события не адекватны (мелочь часто становится важнее серьезной вещи, происходит нарушение законов аксиологии, которые проза XIX века свято чтила).

Повествование ведется от «я» лирического героя и внешне отражает процесс его превращения из мальчика в юношу. Он рассказывает о небольшом городе западной части России (знакомый писателю по детству многонациональный город Двинск), но сама природа этого «я» нуждается в уточнении. В отличие от «обличительного» произведения, где лирический герой противостоит обывательской среде и в конечном счете срывает с нее маску, повествователь Добычина говорит о городе Эн с чувством полной сопричастности к его жизни. Он — маленький веселый солдатик обывательской армии, который бойко рапортует об интригах и сплетнях. У него есть свое «мировоззрение», совпадающее с моральной нормой, он негодует против ее нарушений, расшаркивается перед взрослыми и умиляется своим мечтам. Он мечтает о дружбе с сыновьями Манилова.

Но в сущности, этот рапорт столь же бойкий, сколь и несвязный. Ненужные детали в своем нагромождении вырастают до ощущения никчемности самой жизни. Трагедии в этом мире отсутствуют. Смерть отца обрастает описанием всевозможных, не относящихся к делу подробностей. Там, где русская литература видела тему, достойную пера Толстого, у Добычина мелкое происшествие: «Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие,

обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроившись на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду».

Такое повествование может продолжаться бесконечно, увязая во всех новых и новых подробностях. Неудивительно, что Добычин прибегает к условному финалу. Выясняется вдруг, что герой страдает близорукостью. Эта близорукость в финале как бы объясняет конструктивный принцип повествования (все смазано) и превращается в метафору ограниченного восприятия героя. На последней странице книги он видит вечером, что «звезд очень много и что у них есть лучи». Эти «лучи звезд» должны восприниматься как маленькие лучики надежды в «темном царстве», но не исключено, что в них, как и в метафоре близорукости, есть скрытая пародия на «литературность»: «Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно». Это еще одна ироническая волна, на этот раз пародия на характерный для эпохи мотив самокритики.

Н. Степанов, которому удалось откликнуться на выход добычинской книги достаточно положительной рецензией (Литературный современник, 1936, № 2), отнесся к «самокритике» серьезно и возразил повествователю: «Нет, герой повести Добычина видел «правильно», несмотря на свою близорукость». Критик попал в ловушку, расставленную писателем, но у него были самые благие намерения. Причисляя книги Добычина к ряду «экспериментальных», рассчитанных на узкий круг «любителей», Н. Степанов стремился сохранить для писателя место хотя бы в маргинальной литературе.

Но Добычина уже ничто не могло спасти. Труд по-

ставить все точки над «i» взял на себя литературовед Н. Берковский, который заявил на писательском собрании в Ленинграде, где обсуждалось творчество Добычина: «Беда Добычина в том, что вот этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиций двинского мировоззрения... Этот профиль добычинской прозы, — это, конечно, профиль смерти».

Добычин вновь пошел против течения. Он подошел к трибуне и кратко, взволнованно и дерзко отверг предъявленные ему обвинения. Как было отмечено в отчете о собрании, опубликованном в «Литературном Ленинграде» (1936, 20 марта), он сказал «несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно враждебной».

Спустя некоторое время после писательского собрания Добычин исчез. Друзья подняли тревогу. В квартире, где он жил, все было нетронутым, нашли его паспорт: версии об аресте или переезде в другой город исключались.

Стихия воды оказалась в конечном счете роковой не только для героев Добычина, но и для него самого: через несколько месяцев после исчезновения писателя его тело было выловлено в Неве.

Читая Добычина, понимаешь, что он — как и Лиз — в своих произведениях «заплыл за поворот». Но не из кокетства, не из расчета на успех, а потому, что был настоящий писатель. Писательство — это и есть «заплыв за поворот», предприятие рискованное, все прочее, как сказал поэт, — литература.

Виктор Ерофеев

ГОРОД ЭН

Александру Павловичу Дроздову

1

Дождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались «паж». Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. — Не оглядывайся, — говорила мне маман.

Тюремный за́мок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней.

— Нет, в самом деле, — говорили они, — трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме.

Сморкаясь, нас обогнала́ внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку «Чичикова». В воротах все остановились, чтобы расстегнуть «пажи», и дама-Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. — Симпатичная, — сказала про нее маман.

Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. — На проскомидию, — отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кадил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За за́мком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хор на нас смотрели арестанты. — Стой как следует, — велела мне маман.

Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. — Мадмазель Горшкова, — пояснила Александра Львовна, покивав ей. Дама-Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды.

Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях.

— Не надо избегать их, — говорил он. — Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбе́й и горько плакал: «Бог забыл меня», — печалился он.

— Ах, как это верно, — удивлялись дамы, выйдя за ворота и опять принявшись за «пажи». Дождь капал понемногу. Мадмазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадмазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них.

Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор взобрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговари-

вали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом. — Верно, верно, — соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой. Мадмазель Горшкова куталась в боа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама-Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом.

Простившись с мадмазель Горшковой, мы поговорили про нее. — Воспитанная, — похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь. — Завернем сюда, — сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин Л. Кусман. Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная Л. Кусман блеклыми глазами грустно оглядела нас. — Я редко вижу вас, — сказала она нежно. — Дайте мне «Священную историю», — попросила у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня.

Л. Кусман показала на меня глазами, сунула в «Священную историю» картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. — Рубль десять, — объявила она цену и потом сказала: — Для вас — рубль.

Картинка оказалась — «ангел». Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила его в столовой на обои. — Пусть следит, чтобы ты ел как следует, — сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. — Миленький, — с любовью думал я.

2

Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам, и что́ там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узна́ет об их дружбе и пожалует их генералами.

— Чем увлекаетесь? — спросила у меня маман. Она всегда так говорила вместо «что читаете?». — Зови Цецилию, — сказала она, — и иди гулять. — Цецилия, — закричал я, и она примчалась, низенькая. Доставая фартук, она слазила в свой сундучок, который назывался «скрынка». Проиграла музыка в замке́ и показался Лев XIII. Он был наклеен изнутри на крышку.

День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, ло́снилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра к-ца Митрофанова. Марш грянул. Приближалась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Л. Кусман приоткрыла свою дверь.

Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубахе с кружевом нес крест, ксендз выступал, надувшись. — Там, — произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху, — няньки и кухарки будут царствовать, а

господа будут служить им. — Я не верил этому.

— Вот, кажется, хороший переулочек, — сказала мне Цецилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей, он белелся за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего от улицы, сидели нищие. Цецилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Л. Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирев. Шаги звучали гулко. — Наша вера правильная, — хвасталась Цецилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней.

Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне и подтолкнул Цецилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их книзу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цецилия закрыла мне лицо ладонью. — Плюнь, — велела она мне и закрестилась: — Езус, Марья. — Мы бежали.

— «Страшный мальчик», — озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно.

Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам, и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она «на практике». Мне прибавляли киселя два раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорей восстановились. На стене передо мной был ангел от Л. Кусман. С пальмовою веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой.

Явился Пшиборовский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами, он напоминал картин-

ку «Ницше». Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. — В объятия Морфея, — пояснил с почтительностью Пшиборовский, поклонившись ему вслед. — Располагайтесь здесь, — распорядилась, оставаясь за столом, маман. — Не сто́ит зажигать вторую лампу. — Истинно, — ответил Пшиборовский.

Заблестели разные щипцы и ножницы. — Сегодня, — говорил он, чистя, — мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная. — И он рассказывал ее: как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности. — Это верно, — согласилась снисходительно маман и призадумалась. — Ведь бог один, — сказала она, — только веры разные. — Вот именно, — расчувствовался Пшиборовский. Он сиял.

Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Лей. Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился. В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, взволновались и, пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо. — Нет, а Лейкин, — засыпая, слышал я. — Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? — И они смеялись шепотом.

3

Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цецилию мы выгнали. Она поносила нашу религию, и это стало известно маман.

Замо́к скрынки сыграл свою музыку, папа Лев показался еще раз — в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решил распроститься с Цеци-

лией дружески и поднести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул его ей, но она оттолкнула его.

Фа́кторка Ка́ган прислала нам новую няньку. Она была из униаток, и это всем нравилось. — Есть даже медаль, — говорили нам гости, — в честь уничтожения унии. — Рождество наступило. Маман улыбалась и ходила довольная. — Вспоминается детство, — твердила она.

Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завита́я и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивал нас духами из пульверизатора. — Как светло на душе, — подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман. — Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?

Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемисто́клюсом и Алкидом Маниловыми.

Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубочисты и банщики и поздравляли нас. — Хорошо, хорошо, — говорили мы им и давали целковые. Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визитными карточками: оркестры из ангелов играли на скрипках, мужчины во фраках и дамы со шлейфами чокались, над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны.

Маман, улыбаясь, подсела ко мне. — Нынче ночью, — сказала она, — я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь. Завтра он будет у нас. — Она встала,

посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять.

Пахло снегом. Вороны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало. — Вдруг это Серж, — говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам. Толстый Штраус прокатил, в серой куртке и маленькой шляпе с зелененьким перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на пояснице. В соборе звонили, и все направлялись в ту сторону — посмотреть на парад.

Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притопывали. Полицейские на больших лошадях, наезжая, отодвигали народ. Колокола затрезвонили. Все встрепенулись. Нагнувшись, в дверях показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен. Парад начался. Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами, это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела (на обоях в столовой), и я умилился. — Голубчик, — подумал я.

Мы возвращались военной походкой под звуки удалявшейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвез меня. Нянька бежала за нами.

Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитер. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу «Дрейфус читает журнал» и рассказывал, что в Петербурге появились каучуќовые шины. — Идете, — сказал он, — и видите, как извозчичьи дрожки несутся бесшумно.

Обедая, мы пожалели, что Александра Львов-

на не с нами. Мы послали за ней Пшиборовского, но она оказалась, бедняжка, на практике.

Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах. — Успехи науки, — подивились они. Бородатые, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким. —Пас, — объявляли они. Один из них был «выходящей», и маман занимала его. — Я вчера познакомилась, — говорила она, — с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас. — И Серж тоже, — сказал я.

Час их прихода настал наконец. Зазвенел колокольчик. Я выбежал. Лампа горела в передней. Маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб, дама-Чичиков и «Страшный мальчик».

4

Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира». — Вы ездите в крепость? — спросила она. — По субботам там бывают акафисты.

Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спе́реди.

— Как у больших, — удивился я. — Мы поболтали с ним. — Серж, — оглянувшись, спросил я его, — это ты один раз состроил мне страш-

ную рожу? — Он побожился, что нет. Я был тронут.

Отец вышел к чаю, когда гости о́тбыли. Страшно довольная, маман напевала и с хитреньким видом посмеивалась. — Знаешь, — сказала она, — мы условились с ней перечесть вместе Лейкина.

Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку елки. Серебряный дождик блестел на ней. — Серж, Серж, ах, Серж, — повторял я.

Потом мы с маман побывали у них. Целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимназистку Софи Самоквасову. — Очень приятно, — сказала Софи. Взяв друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся «будуар». Я пожал Сержу руку: — Мы с тобой — как Манилов и Чичиков. — Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их. — Вот Дон-Кихот, — показал мне Серж, — он был дурак. — Перед чаем Софи Самоквасова потанцевала нам с шарфом. — Прекрасно, — рукоплеща, говорила маман. — Серж хороший? — спросила она, когда мы возвращались. — Да, он воспитанный мальчик, — ответил я ей.

К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинок саратовской фабрики. Мы рассказали ей о нашей дружбе с Кармановыми.

Через несколько дней мы увиделись с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного. Мы жмурились, стоя на дамбе. Внизу шевелились

хоругви. Пестрелись туалеты священников. Елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софи Самоквасова прибежала откуда-то и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам. — Очень рад, — восклицал он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якори и топоры. Борода у него была всклочена и казалась нечесаной. — Водосвятие прошло очень мило, — сказал он и из-за пенсне подмигнул мне. Прощаясь, он пригласил меня на железнодорожную елку.

Расставшись с ним, мы впятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие, они издали походили на свечки. Говорят, это бывший костел, — рассказала Софи Самоквасова. Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо, с солдатом на козлах, промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке:

Мадам Фу-фу —
Голова в пуху.
Одета по моде.
А голова-то в комоде.

Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась. — Дни стали заметно длиннее, — сказала она.

Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чаплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались.

На том же извозчике мы отправились в театр. Военный оркестр играл там под управлением

капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они — электрические. Нам поднесли по игрушечной лошади, и мы послали Чаплинского отнести их домой.

Серж бывал уже здесь. Он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский за́мок». — Послушай, — сказал он мне вдруг, — это я тогда состроил тебе страшную рожу.

Потом он поклялся, что это не он был.

5

Кармановы перебрались в дом Янека и заняли квартиру в десять комнат. Самая больша́я называлась «зал». На масленице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды подсмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и протягивала к нему руки. — Александр, — говорила она трогательно, — о, прости меня.

Белугиных перевели в Митаву. Уезжая, они пе́редали нам свою квартиру в доме Янека. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чаплинского — помочь при переезде. К огорчению маман, отец не принял его. Пшиборовский, упаковывавший вещи, посочувствовал ей.

Ангел, поднесенный мне Л. Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было. Я поцеловал его. К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам

пироги и крендели. Маман явился ночью господин, который умер в этом доме. — Можете себе представить, — говорила она. По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора. Он отслужил молебен. Александра Львовна Лей и инженерша с Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была поставлена икона и вода в салатнике. Попев, как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе.

Ка́ган, факторка, опять искала для нас няньку. Униатка нагрубила, и маман отправила ее. Взволнованная, она в тот вечер не читала с инженершей Лейкина, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей. — Находка, — закричала она, что-то разворачивая. Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами. — Замечательно, — одобрили мы. — Дело в том, — сказала Александра Львовна, — что при выходе из дома она встретила портниху, панну Пле́пис. Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах.

Масленица приближалась. Пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделывали па.

> Пойдем, пойдем, ангел милый, —

напевали они тоненько, —

> Польку танцовать со мной.
> Слышишь, слышишь звуки польки,
> Звуки польки неземной?

Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка и в ней — Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки.

Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей. — Софи, — сказала она, подходя к девицам, — там Иван Фомич. Он сделал предложение. — Мне было жаль, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Сенченкова. Из нее шел дым.

Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди ученики стояли скромно. На средине бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лестно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в «училище», а инженерша стала сообщать училищные новости. Так мы узнали об ученике шестого класса Васе Стрижкине. Во время физики он закурил сигарку и с согласия родителей был высечен.

Зима кончалась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег. Опять загрохотали дрожки. Наши матери говели и водили нас с собой. На потолке в соборе было небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его.

Раз как-то инженерша с Сержем завернула к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах — «карамель Мерси», имеющихся в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с красными физиономиями. Бабы с квасом останавлива-

ли их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел, посвистывая.

Карамель «Мерси» понравилась нам. На ее бумажках были две руки, которые здоровались. Она была невелика, и в фунте ее было много. Пока Серж и дамы наблюдали за развешиваньем, крюковская дочь отозвала́ меня в сторонку и дала́ мне пряничную женщину.

6

Уже просохло. Уже дворник сгрёб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Л. Кусман выставила у меня в окне пасхальные открытки.

Раз после обеда я прогуливался по двору. Серж вышел. — Завтра мы поедем в крепость, — объявил он, — и вы с нами. — Оказалось, инженерша собрала́сь туда молиться о покойном Самоквасове.

— Бом, — начали звонить в соборе. Мы перекрестились. Пфердхен подошел с свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому. — Киндер, — покричали мы им вслед, — тэй тринкен, — и потом задумались, прислушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и барыни проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувырка́лась в воздухе. Она расшевелила нас. — Пойдем к подвальным, — предложил мне Серж.

Мы ощупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскали двери. У подвальных воняло нищими. У них на окнах в жестяных коробочках цве-

ла герань. В углу с картинками, как в скрынке у Цецилии, улыбался, с узенькими плечиками, папа Лев. Повальные проснулись и смотрели на нас с лавки. — Ваши дети не дают проходу, — как всегда, пожаловались мы. — Мы им покажем, — как всегда, сказали нам подвальные.

Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшиборовского за дрожками. Он усадил нас и, любуясь нами, кланялся нам вслед.

Денек был серенький. Колокола звонили. Приодевшиеся немки под руку с мужьями торопились в кирху, и у них под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали.

Загремев, мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка поднялась на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытащенных во дворы матрацев выколачивали пыль. Река текла широ́ко. — Пробуждается природа, — говорила поэтически Софи, и дамы соглашались.

Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По̀ валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них — не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам.

Сойдя с извозчика, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед ним был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшим поставленным вверх дулом пушечкам и свешивались между ними.

На скамейке я увидел новогоднего ученика (того, что меня щелкнул). Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула. — Вот Вася Стрижкин, — показала она. — Ва-

ся, — шепотом сказал я. Он взглянул на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак.

На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я о́тдал свой пятак, и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф. — Ай, цвай, драй, — сказал снаружи Янкель. Я увидел все, о чем был так наслышан, — и «Изгнание из рая», и «Семейство Александра III». Вокруг стояли люди и завидовали мне.

В субботу перед пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне Евангелие. «Любимый ученик» в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке.

Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. — «Пан христус з мартвэх вста, — писал нам Пшиборовский,— алелюя, алелюя, алелюя».

Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутрени. Мне разрешили встать. Торжественные, мы поели. Александра Львовна Лей участвовала.

Утро было солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадмазель Горшкова. В окна прилетал трезвон. Гремя пролетками, подкатывали гости и, коля нас бородами, поздравляли нас. Маман сияла. — Закусите, — говорила она им. С руками за спиной, отец похаживал. — Пан христус з мартвэх вста, — довольный, напевал он. Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду.

После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и у Пшиборовского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня.

7

Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, низенький, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Кантóрек провожал его. Я рассказал маман об этой встрече, и она задумалась. — Я никогда не видела его, — сказала она, а отец пожал плечами. Он не любил людей, которые были богаче нас. Он и с Кармановым, хотя маман и приставала постоянно, не знакомился.

Кондратьевы зашли проститься с нами и переселились в лáгери. Они нас звали, и однажды утром мы, принарядясь, послали за извозчиком, уселись и отправились туда. Мы миновали баню, крюковскую лавку и галантерейную торговлю Тэкли Андрушкевич. У нее в окошечке висели свечи, привязанные за фитиль, и елочная ватная старушка с клюквой. Мостовая кончилась. Приятно стало. За плетнями огородники работали среди навоза. Жаворонки пели. Впереди был виден лес, воинственная музыка неслась оттуда. — Это лáгери, — сказала нам маман.

Барак Кондратьевых стоял у въезда. Золотой зеркальный шар блестел на столбике. Денщик Рахматуллá стирал.

Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях — «Как для кого!» — было написано химическим карандашом и смочено. — «Ого!» — «Так говорил, — прочла маман заглавие. — Заратустра». — Это муж читает и свои заметки делает,— сказала нам Кондратьева. Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.

Мы отправились побродить и осмотрели ла́гери. Нам встретился отец Андрея. Длинный, с маленьким лицом и узким туловищем, он сидел на дрожках и драпировался в брошенную на одно плечо шинель. — К больному в город, — крикнул он нам. Мы остановились, чтобы помахать ему. — Когда дерут солдат, то он присутствует, — сказал Андрей. Оркестр, приближаясь, играл марши. Не держась за руль, кадеты проносились на велосипедах. Разъездные кухни дребезжали и распространяли запах щей.

Вдруг набежала тучка, брызнул дождь и застучал по лопухам. Мы переждали под грибом для часового. Я прочел афишу на столбе гриба: разнохарактерный дивертисмент, оркестр, водевиль «Денщик подвел». Я рассказал Андрею, как один раз был в театре, как на елке, разноцветное, горело электричество и как на занавесе был изображен шильонский за́мок. Рассказал про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова и про то, как до сих пор не знаю, кто был «Страшный мальчик» — Серж или не Серж.

— И не узнаешь никогда, — сказал Андрей. — Да, согласился я с ним, — да! — Так разговаривая, мы спустились на́ берег. Река была коричневая. Плот, скрипя веслом, плыл. За рекой распа-

ханные невысокие холмы тянулись. Коля Либерман купался. Он стоял, суровый, подставляя себя солнцу, и я вспомнил, как Софи, коленопреклоненная, взирала на него. — О, Александр, — восклицала она, каясь и ломая руки, — о, прости меня. — Какой он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела. — Да, да, — ответил мне Андрей на это, — да! — Глубокомысленные, мы молчали. Марши раздавались сзади. Рыбы всплескивались иногда. С вальком и ворохом белья, как прачка, на мостки пришел Рахмату́лла́.

Мне предстояло разлучиться с Сержем. С инженершей и с Софи он уезжал на лето в Самоквасово.

День их отъезда наступил. Я и маман явились на вокзал с конфетами. Иван Фомич, Чаплинский, инженер и Эльза Будрих провожали. Окруженную узлами, в стороне от путешественников мы увидели портниху панну Пле́пис. Она ехала с Кармановыми, чтобы шить прида́ное. Она стояла в красной шляпе, низенькая, и поглядывала. Инженер распорядился, чтобы нам открыли «императорские комнаты». — Здесь очень мило, — похвалил он, сев на золоченый стул. Нам принесли шампанское, и инженерша омрачилась. — Это уже лишнее, — сказала она. Все-таки мы выпили и крикнули «ура». Софи была довольна. — Как в романе, — облизнувшись и посоловев, сравнила она. Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами, она стала неуклюжей и внушительною.

Возвращались мы расслабленные. — Все-таки, — откинувшись на спинку дрог и нежно улыбаясь, говорила мне маман, —она подскуповата. —

Я дремал. Я думал о портнихе, панне Пле́пис, и о счастье, которое приносят Александре Львовне встречи с ней. Я вспомнил свои встречи с Васей, пятак, который нашел в крепости, и пряник, который мне подарила крюковская дочь.

8

Лето мы провели в деревне на курляндском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был «палац».

К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Парадная, в костюме из саратовской сарпинки, в шляпе «амазонка» и в браслете «цепь» с брелоками, она дышала шумно. — Чтобы легкие проветривались лучше, — поясняла она нам. Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их, а она негодовала.

Я один раз видел его. С нянькой я отправился в местечко за баранками. К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухъярусная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил. — Они католики, — сказала нянька и, взволнованная, поспешила завернуть в костел. Я тоже был растроган.

Сенокос уже прошел. Аптекаршу фон-Бонин посетила мадам Штраус, и, пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько наезжал. Летело время. Ужинать садились уже с лампой. Наконец

явился Пшиборовский, и мы стали упаковываться.

Подкатил извозчик и сказал «бонжур». Он сообщил, что седоки — военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяева стояли и смотрели вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал. — До свиданья, крест на повороте, — говорили мы, — прощайте, аист.

Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбегáла через огород в одной ротонде нá реку. Она купалась, а кухарка с простыней, готовая к услугам и впотьмах чуть видная, стояла у воды.

Опять к нам стали ходить гости. Дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые, они беседовали про изобретенную в Соединенных Штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам.

Маман посовещалась кое с кем из них. Она решила, что мне надо начинать писать. Она любила посоветоваться. Мы зашли к Л. Кусман и купили у нее тетрадей. Как всегда, Л. Кусман куталась и ежилась, унылая и томная. — Проходит лето, — говорила она нам, — а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка. — Это верно, — отвечала ей маман. Мне было грустно, и, придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединясь, подумать о писаньи, предстоявшем мне. Желтели уже листья. Небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темных кофтах, толстые, сидели под каштанами и тоненькими голосками пели хором:

Несчастное творенье
Орловский кондуктóр.
Чернила его именье,
А тормоз его дом.

Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказывал мне, что из Витебска приедет архиерей и после службы будет раздавать кресты с брильянтиками. — Если мы получим их, — сказал я, — то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими.

Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он ро́здал жестяные, и мы о́тдали их нищим.

У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчея была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло йодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там. Мы поговорили. Мне приятно было с ним, и, так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это.

Александра Львовна Лей когда она теперь бывала у нас, то всегда расспрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи. — Сентябрь, — озабоченная, звякая брелоками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась. — Интересно, интересно, — говорила она нам.

Раз я писал после обеда. Солнце освещало сад. Окно было открыто. Пфердхенские голоса слышны были. — «Кафтаны», — списывал я с прописи, — «зелёны». — Брось, — сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горе́ стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу.

Мы возвращались уже в сумерки. Уже показы-

вались звезды, и извозчики уже позажигали фонари у козел. Вдруг заслышался какой-то незнакомый звук. Остановясь, мы обернулись. Мимо нас бесшумно прокатились дрожки. Их колеса не гремели, и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще. — Резиновые шины, — наконец заговорили мы.

9

Этой осенью заразился на вскрытии и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была отперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебывали по множеству раз. Вместо того чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения.

На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мной у распятия. Иоанн у креста, миловидный, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал. Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл ее, точно в гостях, по имени-отчеству и говорил маман «ты». — Бог послал тебе скорбь, — говорил он, — и в ней посетил тебя. Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом.

Вечером, когда отбыли последние гости и с нами осталась только дама из Витебска и стала снимать с себя платье со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира.

Маман подыскала другую, неподалеку от кирхи, и мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином и наружными ставнями. Через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из которого, очень нарядная, выходила чета новобрачных. Я вызвался сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что все это — сахарное.

Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшиборовского, и маман, отвернувшись, всплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялáсь и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью.

Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная фáкторкой Кáган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать.

Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под вéчер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.

В «монументальной И. Ступель» маман заказала решетку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на краснощекенькую богородицу тюремной церкви. — «Мадонна, — напечатано было под ней, — святого Сикста».

Карманов устроил маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай.

. После праздников мне предстояло начать готовиться в приготовительный класс. Маман побывала со мной у Горшковой и договорилась. Горшкова жила́ при училище. В красном капоте, она отворила нам. Стены передней были уставлены вешалками. На обоих отпечатаны были па́годы с многоэтажными крышами. — Мы к вам по делу, — сказала маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике. В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом.

Прошло рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне.

Дама из Витебска в длинном письме сообщила нам, что́ она делала после того, как была у нас. — «Все вспоминаю, — писала она между прочим, — веночек, который тогда возложила на гроб инженерша Карманова». — А, — улыбнувшись, сказала маман.

В Новый год падал снег. Визитеры раскатывали. Я побродил возле кирхи, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орган.

Почтальон перестал приносить нам «Русские ведомости» и начал носить «Биржевые». Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей приходилось продолжать посещать телеграф. Через несколько дней она показала мне, как надо связывать тетради и книжки, и повела меня. — Все-таки, — говорила она по дороге, — день стал заметно длинней. — У крыльца мы расстались. Я дернул звонок. Сторожиха впустила меня. У Горшковой я увидел девчонку Синицы-

ну в бусах и сторожихина сына. Горшкова учила их. — «Всуе», — говорила она им, — это значит «напрасно». — Она усадила меня, и мы стали писать.

10

Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинками, висели над кроватью. Мадмазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная. — «Тюленьи кожи, — диктовала она и пускала дым колечками, — идут на ранцы». — Сторожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши лица тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадмазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее.

Иногда, идя учиться, я встречался с Пфердхенами. В шубах с пелеринами, они шагали в ногу. Один раз я видел Пшиборовского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел.

Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда, в этот вечер мне удалось чистописание, и мадмазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку.

Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице. — Великопостные, — взглянув на небеса, сказала она басом, — звезды, — и по-

том спросила у меня, когда у нас бывает инженерша.

Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы, и Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софи. — Да вы зайдите к ней, — сказала инженерша. Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого». — Ангелы совсем другое, — пояснил он. Дамы недовольны были. — Не тебе судить об этом, — стали говорить они. Карманова негодовала. — За такие штуки надо драть и солью посыпать, — сказала она после.

Первого апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело идти по улицам. — У вас на голове червяк, — обманывали друг друга люди. Перешептываясь о Софи и Александре Львовне Лей, таинственные, дамы уединились в «будуаре» и отпустили меня и Сержа в сад. Там, как и прежде, под каштанами сидели няньки. Со двора подсматривали сквозь забор подвальные. — Какие дураки, — поговорили мы о них. Вдруг пфердхенская Эдит прибежала запыхавшаяся. — Господа, — кричала она и жестикулировала. — Карла будут бить. Кто хочет слушать? Я открыла форточку. — Мы устремились вслед за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением посматривала. Чем-то она напомнила мне богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской И. Ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее. — Кто это? — спросил я на бегу у Сержа. — Тусенька Сиу, — ответил он.

Когда я шел с маман домой, уже темно было.

На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке. Он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Сиу представилась мне — на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: — Александр, о, прости меня.

Я скоро был представлен ей. Чаплинский раз после обеда постучался к нам. Он сообщил нам, что у Софи родился мальчик. Воодушевленные, мы наскоро оделись и послали за извозчиком.

Опять маман сидела с инженершей в будуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа. — Это сын одной телеграфистки, — рекомендовал он меня.

В день перед экзаменами мадмазель Горшкова рассказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня. — Пойдемте в сад, — звала́ она меня, — спровадив Синицыну и Осипа. — Смотрите, яблони цветут. — Нет, мне пора, спасибо, — отвечал я. Она вышла проводить меня. С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная.

Маман была дежурная. Розалия подала́ мне чай. Трепещущий, я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло. Шурша, носилась пыль. Мороженщики в фартуках стояли на углах. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася

Стрижкин, с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему. — Васенька, — сказал я и перекрестился незаметно, — помоги мне.

11

Штабс-капитанша Чигильдеева жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошлись с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку-стул и подвигалась с нею, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом». — Что ты там читаешь? — спрашивала иногда она, и я показывал ей.

— Это книги для больших, — сказала она мне однажды, поднявшись к себе наверх и принесла мне книгу детскую. — «Любезность за любезность», — называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученице, перешедшей в третий класс. Родители Сусанны были знатны, говорилось в ней. Стояла хорошая погода, и они устроили пикник. Дочь городского головы Елизавета тоже, хотя и не была дворянкою, была приглашена. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица, голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы.

Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла. — Муштруете уж очень, — заявила она нам. Мы рассердились на

нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза.

Лес, который начинался за Вилейкской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и, когда она открылась, мы отправились туда.

Послеобеденное солнце пригревало нас. На крае неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем» и ссадил помещицу в митенках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.

Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже. — Осень, осень близко, — покачали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». — Туда были отдельные билеты, мы посовещались и купили их.

Внутри стояли стулья, полотно висело перед ними, и когда все сели, — свет погас, рояль и скрипка заиграли, и мы увидели «Юдифь и Олоферн», историческую драму в красках. Пораженные, мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на

картине, двигались, и ветви нарисованных деревьев шевелились.

Утром, когда я расположился писать Сержу про Юдифь, вошла Евгения и подала́ мне записку, свернутую в трубочку. «Как вам понравилась живая фотография? — было написано в ней. — Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться. С.»

Составительница этого письма ждала́ ответа, сидя на скамейке перед домом, и, когда я вышел за воро́та, встала. — Я Стефания Грикюпель, — назвала́ она себя, и мы прошлись немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью булочной и сахарным костелом. — Мой друг Серж уехал в Ялту, — рассказал я, — а Андрей Кондратьев в лагерях. Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать. — Стефания Грикюпель, оказалось, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет: цифры по-арабски, сочинения сочинять.

Довольные друг другом, мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны — факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стрижкин.

Мне влетело от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвала́ Стефанию развратницею. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня. — Но это так естественно, — сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слазила наверх и принесла «Любезность за любезность». — Я дарю ее тебе, — сказала она мне.

12

Училище было коричневое, и фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треугольному полю фронтончика был приделан чугунный орел. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест.

Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стрижкиным. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх, в коридор старшеклассников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины: «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Бóрках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнёва продавала в гимнастическом зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеич любезничал с ней. Ее муж Головнёв, вахтер, низенький, стоя у печки, смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне. Но Вася и там не встречался мне.

Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих. Он жил возле кирхи, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там. Репейник цвел между могилами. Каменный ангел держал в руке лиру. Телеги гремели вдали. Господ и госпож еще не было, и я сел на плиту подождать их.

— «Статские, — выбиты были на ней старомодные буквы, — советники Петр Петрович и

Софья Григорьевна Щукины». — Я их представил себе.

Никого не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью которого была нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивые. — «Монументы, — заметил я вывеску с золотом, — всех исповеданий. Прауда». — Я вспомнил И. Ступель, мадонну у нее в заведении и Тусеньку.

Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины. — У нас теперь есть граммофон, — говорила она нам. А мы рассказали ей о живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился всем, и его повторили. — Но жалко, — сказал один гость, — что наука изобрела это поздно: а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди. — Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в «приемную». Снова я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Андрей, разговаривая, нарисовал на полях «Заратустры» картинку. — «Черты, — подписал он под нею название, — лица».

Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна «Биржевые», внезапно за окном появился Чаплинский. Он по́дал две маленьких дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Доро́гой я с ним побеседовал. Я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числится, хотя и состоит при Карманове.

Серж был любезен. — Приятно, — сказал он

мне, — быть знакомым с учащимся. — На́скоро инженерша напоила нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали и потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи. — Она, — посмеялся он, — думала, будто ваша фамилия — Ять. — Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия.

Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги, и я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним. — Вообразите, — сказал я, — учащиеся пишут на партах плохие слова. — Части тела? — оживясь, спросил Серж. Я подумал об Андрее с «черта́ми лица» и о том, что предосудительно в присутствии друга вспоминать о других.

В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как из поезда, нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. — Маршировка прошла очень мило, — сказал он. При выходе мы задержались и посмотрели на городовых, отгонявших зевак. — Да, — толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стрижкине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.

13

— «Православный», — сказал нам на уроке «закона» отец Николай, — значит «правильно верующий». — По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он на́чал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что — нет. Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете. — У них всегда грязные ногти, — сказал я,— и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «ква́ртал», «галоши» и «одену пальто». — Дураки, — посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напомнила нам за чаепитием о Тусеньке. Мы подмигнули друг другу и, точно стишок, повторяли весь вечер:

Сиу и компания, Москва,
Сиу и компания, Москва.

Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От окон тянулись лучи, пыль вертелась на них. Время ползло еле-еле. Наконец Головнёв вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван Моисеич повел нас к инспектору на перекличку.

Инспектора, мужа Софи, переводили в Либаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день, перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая,

в шляпе с пером и в вуали с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказала ей, что Евгения очень уж льстива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Ма́угли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не «Любезность» ли я «за любезность» читаю.

— Сегодня, — объявила Карманова как-то раз, когда я глазел с Сержем в окно, — будет «страшная ночь», — и она посоветовала нам пойти на́ реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи. Под охраной Чаплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо».

Уже подмерзало. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны. Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила триста рублей, и маман не велела мне распространяться об этом.

Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирхе блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел огни на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчичьи санки. В шинели офицерского цвета Вася Стрижкин сидел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал счастья, которое мне должна была принести эта встреча. И вот, в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал нам, что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре урока.

— «Спектакль для детей», — возвестили однажды афиши. Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед внушительным юношей и восклицающая: — О, Александр! — Чаплинский принес нам билеты. Театр был полон.

Военный оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел. Перед нами был занавес с замком. Мы ждали, пока он подымется, и жевали конфеты. Стефания Грикюпель откуда-то выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне. Я рад был, что маман и Кармановы в эту минуту смотрели на мадам Штраус, входившую в зал.

Рождество пролетело, и в экстренном выпуске газета «Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обедни — и начинались молебны «о даровании победы». В окне у Л. Кусман появились «патриотические открытые письма». Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии броненосцев и крейсеров и наклеивать их в «Черновую тетрадь». Мы с маман были раз у Кармановых. Дамы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и именитые женщины не собираются вместе и не щиплют ее.

В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести «Черновую тетрадь». Я и Тусенька были вдвоем в конце «зала». Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену которой я подсмотрел. Я хотел рассказать ее Тусеньке. — Натали, ах, — хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж. — Ты читал книгу «Чехов»? — краснея, наконец спросила она.

14

На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем зараз исповедаться мысленно.

Быстро наступила весна. В воскресенье перед страстною неделей в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец Николай, огороженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В боа и с лорнетом, она была очень внушительна. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменила приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок.

Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Нóли ме тáнгере», она нас поздравила с пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, помещика, и что они уезжают в имение и сама она тоже собирается двинуться с ними.

Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели. Сидя в садике, я повторял про сложение. Открылось окно, и маман позвалá меня в дом и велела проститься с Александрою

Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме «сестры», торопилась и пила, наливала в два блюдечка: — Пусть остывает скорей. — Завоюете их, — говорила маман, — и тогда у нас чай будет дёшев.

На лето Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и маман побывали у них. С парохода «Прогресс» нам видны были дамбы и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. — Христианский народ, — говорили они, — а помогает японцам. — Действительно, — пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась маман. Я смутился. На книге про Маугли напечатано было, что она переводная с английского, и я думал поэтому, что Англию надо любить.

Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничные, мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это — нотариусиха Конрадиха фон-Сасапарель. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с фестончиками из парусины. На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежились дачницы. Бегая и пререкаясь друг с другом, девицы и мальчики играли в крокет.

Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чаплинский сторожит ее

тщательно. В этот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чаплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и, значительный, указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные. — Пользуются, — пояснил он нам мрачно, — что господа поразъехались. — Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали Кантóреку, чтобы он принял меры.

Недолго я оставался без дела. Маман сговорилась с Горшковой, и я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий в училище что-нибудь уже знать. — «Вас ист дас?» — диктовала Горшкова и, пока я писал, подходила ко мне. Я запрятывал руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня. Раз в передней она мне сказала, что Плéве убит, и, расстроенная, быстро набросясь, схватила меня и потискала.

Изредка я встречался со Стефанией. Кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со мной.

15

— В училище завтра молебен, — объявила однажды маман и подалá мне «Двину». Я прочел извещение. — Итак, — думал я, — уже кончилось лето. — Я съездил в последний раз в Шавские Дрожки. На лóзах там ужé поредела листва. Паутина летала ужé. У Кармановых я увидел Софи. Мимоездом она там гостила с ребеночком. Неповоротливая, встав с качалки, она осмотрела меня. — Всё такой же, — эффектно ска-

зала она, — но в глазах уже что-то другое. — Конрáдиха фон-Сасапарéль завернула при мне. Представительная, она опиралась на посох. На нем были рóжки и надпись «Кримé». Инженерша подсела к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово и что вообще хорошо бы распродать всё и выехать. Я был встревожен. — Уедет и Серж, — думал я, — и конец будет дружбе. — Печальный, я возвращался домой на «Прогрессе». Шумели его два колеса. Пассажиры молчали. Был виден на холмике садик, и сквозь садик виднелся закат.

В приложение к книгам Л. Кусман дала мне в этом году «Мысли мудрых людей». На обложке их было написано, что они стоят двенадцать копеек. Маман просмотрела их и одобрила коекакие из них, и я рад был. Но в школе я узнал, что Ямпóльский и Лившиц давали «Товарищ, календарь для учащихся». Разочарованный, я решил не иметь больше дела с Л. Кусман. Я думал об этом, когда вечером вышел пройтись. Озабоченный, я не заметил на улице учителя чистописания, и меня посадили за это в карцер на час. Я рыдал весь тот день, и маман подносила мне капли.

К нам в церковь водили теперь гимназисток. Они были в белых передничках, бантиках и, не вертя головой, углом глáза смотрели на нас. Их начальница, в «ленте», торжественная, иногда доставала из мешочка платок, и тогда запах фиалки долетал до нас. Тусенька чинно стояла в рядах, притворяясь, что ничего не замечает вокруг, и краснела, когда кто-нибудь поглядит на нее. — Натали, Натали, — думал я, и обедни ужé не казались мне больше такими длинными.

В классе я сидел рядом с Фридрихом Оловым.

Он был плохой ученик и во время уроков, вырвав лист из тетради, любил рисовать на нем глупости. Он уверял меня, будто всё, что рассказывают про Подольскую улицу, правда, и я, возвращаясь из школы, несколько раз делал крюк и ходил по Подольской, но я не увидел на ней ничего замечательного. Один раз мне попался там Осип, который когда-то учился со мной у Горшковой, и он посмеялся, что встретил меня там. Он был оборванец, и мне пришло в голову позже, что у него мог быть нож и он мог бы помочь мне отомстить учителю чистописания. Обдумав, как мне говорить с ним, я пошел к нему в школу, в которой он жил, но его уже не было в ней.

Этой осенью мы переехали на другую квартиру. Она была в том же квартáле, в каменном доме Канатчикова. Приходя за деньгами, Канатчиков заводил разговор о религии. Он нам показывал, как надо креститься двухперстно. Из дома теперь нам виднá была площадь, на которой учили солдат. В уголке ее, окруженная желтой акацией, была располóжена небольшая военная церковь. Молебен, который служили на площади, когда отправляли полки на войну, мы слышали, стоя у окон.

Кармановы были у нас на новоселье. Они не уехали. Им подвернулось недорого место вблизи Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу. С двоими из Пфердхенов Серж уже начал учиться у Гаусманши, чтобы весной поступить в первый класс. Серж сказал мне, что Гаусманша говорит «пять раз пять». Посмеявшись над этим, мы приятно болтали вдвоем в моей комнате и не зажигали огня. Прогудели гудки в мастерских. Позвонили негромко на колокольне

на площади. С линии иногда доносились свистки. Мы серьезно настроились. Я рассказал кое-что из «Истории», и мы подивились славянам, которые орали в рот для дыхания тростинку и сидели весь день под водой. Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял как Манилов. Упала звезда, и мне жаль было, что в эту минуту я не думал о мести учителя, — а то бы она удалась мне.

16

— Надо больше есть риса, — говорила теперь за обедом маман, — и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис — и смотри, как они побеждают нас.

Как каждый год, мы опять были у Кондратьевых на именинах. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа. Мне очень понравились в них слова «гаолян» и «фанзá». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича.

Все мальчуганы теперь были зáняты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный клóбук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало.

Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы бог посадил его в ад. Но он скоро явился. — «Иуда, — вывел он на доске, — целованием

предал Иисуса Христа», — и мы начали списывать.

На рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открыточку с кирхой и надписью «фрёлихе вейнахтен».

В этом году инженерша полюбила политику. Часто она принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза.

Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне всё больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром, значительный, Головнёв сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили и в двенадцать часов мы отправимся на панихиду, а оттуда — домой. Он любил сообщить неожиданное.

С панихиды я вышел торжественный. Олов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, остановясь у возов с съестным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. Я в первый раз еще видел их близко. — Они как скоты, — сказал Олов, и мы поболтали о них.

Приближалось говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признáюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость.

Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звалá погостить у нее. Мы решились, и маман написала прошение об отпуске.

Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отпра-

вились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канатчикова.

Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже показалось имение. Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Ворóны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова.

Мы явились, и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой. — Простонародье бунтует, — сказали мы. — Мер принимается мало.

Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был нáстлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду.

Возвратясь, мы, как «Гоголь в Васильевке», посидели на ступенях крыльца. Птица щёлкнула вдруг и присвистнула. — Тише, — сказала маман. Она поднесла к губам палец и с блаженным лицом посмотрела на нас. — Соловей, — прошептала она.

Мне не велено было ходить за ворóта, и я не стремился туда. Страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся «библиотека», я вытащил «Арабские сказки для взрослых» и, пока мы гостили, читал их в саду. В них написано было про «глупости». Я убедился теперь, что мальчишки не врали.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и вéтками и надели на всех нас венки. Они долго скакали и пели и жгли бочки с смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлись и огни были зáлиты и ворота закрыты и сторож заколотил, как всегда, по доске.

Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, сто́я у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные, но коренастенькие, несли ружья и пели про Стесселя:

Стессель — генерал доносит,
Что нет снарядов никаких.

17

Я еще раз попал в обучение к Горшковой. Когда мы приехали в город, маман отдала́ меня подучиться французскому. — Это трудный язык, — говорила Горшкова. — Все бу́ковки в нем пишутся так, а читаются этак. — Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро. Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую.

Был жаркий день. Солнца не было видно. Из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с «Двиной». — Заключение мира! — выкрикивал он. Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие.

Горшкова о мире не знала еще, и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня.

Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас.— Если бы мы воевали подольше, — говорила она нам, — то мы победили бы. Витте нарочно подстроил всё это, потому что он женат на еврейке, и она подстрекала его.

Серж давал мне смотреть «модель дачи» —

деревянную, с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме.

Учебники в этом году я купил у Ямпольского. Я получил наконец «Календарь». Я не ходил теперь мимо Л. Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить, почему это я до сих пор не иду к ней за книгами.

Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в «основном», а Андрей — в «параллельном». Уроки «закона» у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время закона картинку. — «Пожалуйте к столику, — называлась она, — мои милые гости» — Карманова очень была недовольна, увидев ее. — Всё какие-то пáсквили, — стала она говорить с отвращением. — Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством. — Она приказала, чтобы Серж пересел.

Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину «спасения в Борках». Назавтра, когда прозвенели звонки и учитель вошел, гладя бóроду, и, крестясь, стал у образа, а дежурный начал читать «Преблагий», с страшным треском разорвалáсь вдруг где-то под боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли.

Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застрелено четверо. Бунтовщики подобрали их и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ.

Мы смотрели, когда хоронили их. С важными

лицами впереди выступали ксендзы. — Вот мерзавцы, — сказала Карманова и разъяснила нам, что, по религии, им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на все, чтобы только напакостить нам. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка, и в ней Вася Стрижкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог ни лежать на спине, ни сидеть.

Чтобы я не болтался, маман мне велела читать «Сочинения Тургенева». Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня.

Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серж и Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. «Алфавит» начинался: «Ано́хина, Бо́лдырева». Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что все делают что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредет.

У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была «правая», но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что, пока он там был, он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его.

И Ямпольский и Лившиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на десять рублей — получал что-

нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Ямпольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему написали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения».

Возьмите унцию смирения,
Прибавьте две — долготерпения,—

начинались они и подписаны были: «С благословением иеромонах Гавриил». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник.

18

Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом, и, чтобы встретить монаха, я думал сойтись с Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись наши полки́, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними.

Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешиванья на стена́х. На столе у него, где когда-то лежал «Заратустра», красовался теперь «Красный смех». Он давал нам читать его.

Вскоре мы увиделись и с Александрою Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Ва́гелем, и намекнула, что, может быть,

даже вообще не расстанется с ним. Мы приятно задумались.

Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развинтили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться «гарнизонный собор». С интересом мы ждали, каков-то он будет.

В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, к нам явился Чаплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в Карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа.

Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше маман рассказала им, что она уже несколько лет не жилá с инженером. Я был удивлен и поправил ее, но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших.

Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе «подводная лодка», которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли. Зато я нашел в толпе Тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня.

Серж сказал мне потом, что он дал себе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и не стал говорить ему, что отомстить очень трудно.

Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженерша уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня.

Стали строить собор. Рыли землю. Возили булыжник. В квартáле за кирхой начали строить

костел. Староверы приделали колокольню к «моленной». Отец Николай разъяснил нам, что всем исповеданиям дали свободу, но это не имеет большого значения и главным по-прежнему останется наше.

Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся. Мы помахали ему. — Серж, Серж, ах, Серж, — не успел я сказать, — Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя?

Из Митавы на лето приехали в Шавские Дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть курзал, парк и знать, что я уже не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна.

У Белугиных мы застали Сиу, отца Тусеньки. Он был с бородкой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича. — Вы не читали речь Муромцева? — благосклонно спросил он маман.

Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним в Шавские Дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под со́снами, покачиваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры. — «Кара́тельная», — пояснила нам Ольга Куско́ва.

При мне иногда заходила к Белугиным Тусенька, но она со мной важничала и говорила мне «вы».

Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я — как ошпаренный.

Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания.

Однажды я встретился с Осипом. Он был любезен. Он вызвался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем. — Осип, — сказал я, — ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер? — Я взял его руку и в волнении смотрел на него. Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.

Снова осень была на носу. В палисаднике уже щелкали, лопаясь, стручья акаций. Во время дождя, когда пыль прибивало, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам. — Прежде, — говорила маман, — можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им.

В училище я не нашел уже Фридриха Олова. Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом «Кни, Фальк и Федоров». Вместо него поступил новичок по фамилии Софрóнычев. Звали его «Грегуар». Он был сын полицмейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Грегуара «Агатой» и бесплатно ходила с ней в театр и цирк. Я бы мог часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Грегуару. Но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских.

Андрей в один праздничный день завернул

ко мне. Он посмотрел мой учебник «закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил мне пройтись с ним.

Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отправясь с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам.— Не бейте, — сказала она, — того мальчика в серых чулках. — Мы смеялись. Потом мы послушали, как мужчина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе.

«Мел, гвоздей», —

перечисл :ю было на прибитой к калитке дощечке, —

«кистей, лак и клей»,

и задумавшись, мы напевали это под звуки трубы.

Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы. Осыпались деревья. Нескла́дные ангелы, стоя одною ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей, все же, тоже хороший. И вдруг возле столбика с урной над прахом Карманова он принялся городить всякий вздор. — Без причины, — между прочим, сказал он, — его не убили бы. — Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти.

Я решил, что мне лучше всего совершенно не видеться с ним. Но опять нас позвали на кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка внизу, наклонившаяся над скамейкой

с харча́ми. Я сел за маман. Говорили, что, когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери «приемной», и я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться отправиться в сад.

Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы заняли́сь ими, сев на ступеньки. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно, необыкновенно прекрасен. — Андрей, — сказал я, пододвинувшись ближе, — есть одна ученица по имени Тусенька. — Сусенька? — переспросил он. Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что «Тусенька» — правда, какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так: Натали.

В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса́ электрической станции и побродил. Огороды, пустые уже, начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-предавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовке́ у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже «вспоминается детство».

Маман как-то встретилась в бане с Александрою Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля. — Он, — рассказала она, — не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности. — Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонько в Гриве Земгальской.

Довольные, мы посмеялись.

Софронычев несколько дней «фугова́л»: выхо-

дил утром из дому и не являлся в училище. Стало известно потом, что учитель словесности посетил полицмейстера. Вместе они отодрали Грегуара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.

20

«Серж, — писал я во время уроков на вырванных из тетради листках, — я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство.

Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, все охотней является в комнату и толкует со мной». — Я писал, как она мне рассказывала про Канатчикова, что под домом у него сидит сын на цепи и что сын этот глупый, или про подвальную Аннушку — как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное, когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск, но Канатчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом.

«Серж, — писал я, — ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике. Мне все равно не везет в ней. Я думаю, не оттого ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удается следить за уроком».

«Я много читаю. Два раза уже я прочел «Достоевского». Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы?

Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

«Серж, что ты сказал бы о таком человеке, который а) важничает, б) по протекции, не платя, ходит в театр?»

Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал клочья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки, маман же перед отправкой читала бы их.

«Серж, — писал я еще, — ты не видел борцов? Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но, ты знаешь, маман где-то слышала, что это — грубо».

На святках в помещении училища состоялся «студенческий бал». В гимнастическом зале, уставленном елками, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательная, держа в руках сахарницу, которую выиграла в «лотерее аллегри».

На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. Мадмазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшавшим ее голову, Щукина, содержательница «Музыкального образования для всех». — Может быть, — думал я, — она дочь этих «статских советников Щукиных», на могиле которых когда-то я сидел, дожидаясь «господ и господ».

Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и «распорядительском банте». Я вспомнил Софи, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме, и мне стало грустно: бедняж-

ка, она почему-то казалась уже лет на двадцать старее его.

На расчищенном месте уже завертелись вальсёры. Карл Пфердхен кружился со своей сестрой Эдит. Конрадиха фон-Сасапарель выступила с Бодревичем, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приняла́ приглашение подскочившего к ней Грегуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с «почты амура» письмо. — «Отчего это, — кто-то спрашивал в нем, — вы задумчивы?» — Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал. Я увидел при этом Л. Кусман и поспешил убежать.

Я не сразу вернулся домой, я прошелся по дамбе. Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал. Погода менялась от оттепели к небольшому морозику, и на глазах у меня расползлись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня. — У тебя ли табак? — спросил задний мужик у переднего. Я удивился немного, услышав, что мужики, как и мы, разговаривают.

Письмецо я хранил, и минуты, которые я иногда проводил над ним, я считал поэтическими.

Подходила весна. От Кармановых я получил предложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики.

Этой зимой мы видели члена Государственной думы. Канатчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ощупывал рамы. Член думы проехал вдруг — в маленьких санках,

запряженных большой серой лошадью под оливковой сеткой. Канатчиков крикнул нам. Мы подбежали и успели увидеть молодцеватую щёку и черную бóроду. — Наш, крайний правый, — сказал нам Канатчиков. Мы улыбнулись приятно.

21

У Кармановой были еще в нашем городе коекакие делишки. Она продавала участок, который достался ей по закладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней.

Я и Серж побывали вдвоем в Шавских Дрожках. Оркестр играл, как всегда. Из купален слышны были всплески. Лозá над рекою цвела. — Серж, ты помнишь, — сказал я, — когда-то мы были здесь счастливы.

Долго мы ехали в поезде. Утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облакá принимали вид гор, обступающих воду.

Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером óтплыли. Мы заболели в пути морскою болезнью. Мы приплыли поздно, и я не увидел впотьмах ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке «Приветствие из Евпатории».

Нас посадили на шлюпки. Мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. — Васенька, — мысленно вскрикнул я. Кто-то подхватил меня снизу.

У мола нас ждал Караат, запряженный в линейку. Он взят был на лето напрокат у татар. Держа вожжи, возница — на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож — обер-

нулся к Кармановой и начал ей делать доклад.

Одинаковые, друг за другом шли дни. Мы вставали. Карманова в «красном, с турецким рисунком, матинэ из платков» принималась сновать между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей». Являлись с корзинами булочники. Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор, томно глядя, выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю.

У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернышку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. Я часто чего-нибудь не понимал. — Ты дитя, — говорил тогда Серж, — шаркни ножкой. — В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог.

Отобедав, я уходил с Сержем в тень. Он читал там «Граф Монте-Кристо» или «Три мушкетера». Он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу — окончив ее, Серж отдавал ее. Я вспоминал тогда о деньгах Чигильдеевой. Если бы я ими мог уже распоряжаться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы.

Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, драпируясь в «чадры» из расшитого блестками «газа», они уводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную. Дети садились на доску качелей и тихо покачивались. Я и Серж подходили и прислоня-

лись к столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде «Кво вадис?». Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой, чистили к завтраму овощи. В море гудел пароход. Иногда недалёко начинали играть на трубе.

Мел, гвоздей, —

подпевал я тогда ей беззвучно, —

Кистей, лак и клей.

Тарахтела, приближаясь к воротам, линейка, бегал Караат, и его распрягали.

В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел ее прячась и никому не сказал, что читал ее. — В чем же тогда, — говорил я себе, — можно быть совершенно уверенным?

Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал», крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали «комиссию». Я дочитал на нее «Мушкетеров» и «Графа» и скопил два двугривенных.

Скоро появились арбузы и дыни. Теперь Караата кормили их корками. — Значит, он сыт, — говорила Карманова, — если не ест их.

В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные, мимо нас пробегали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. Я думал о том, что он слишком уже увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне.

Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми, низенькие, росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой «чадре». — Побеседуемте, — предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. — Без причины, — сказал я, — конечно, его не убили бы.

Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала́ мне для маман «перекопскую дыню». Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты, и Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.

22

Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему. Дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе «Графскую пристань» — колонны и статуи и ступени к воде. — Серж, Серж, ах, Серж, — по привычке вздохнул я.

Собор против нашего дома почти был достроен. Его купола́ были скрыты холщовыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там — золотильщики.

Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. — Может быть, — думал я, — глядя на эти шатры, она вспоминает маневры. — Она поклонилась и крикнула что-то.

Маман была дома. Увидя меня из окна, она

выбежала, и Евгения выбежала вслед за нею. Они расспросили меня, пока я умывался. — Вот видишь, — сказала маман, — как приятно иметь знакомых со средствами.

Всё разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось, теперь называется «Николаевский парк». Там устроено было гулянье в пользу «Русского человеколюбивого общества». Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей: господин Сиу встретил ее и усадил.

Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, «Образование» которой посещала в «нечетные дни» Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что, может быть, это — предзнаменование.

Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки. Магистр Ян Ютт перебрáлся со своею аптекой в новый собственный дом — он украшен был около входа барельефом «совá».

Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь — благовоспитанная, с скромным видом и с папкой «мюзик», — я сказал бы ей: — Здравствуйте.

В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» и — Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на тре-

тий. Отец отлупил его и о́тдал в пекарню «Восток».

Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье, случившемся с Александрою Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее. — Мало, мало, — сказала маман, — довелось ей наслаждаться семейною жизнью.

Мы были на похоронах. Там мы встретили нескольких прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми. Маман упрекала их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели. — Вот «мел, гвоздей», — говорили мы. — Будьте здоровы. «И. Ступель».

На кладбище, возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкой больше, чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись.

Обратно Кондратьевы нас подвезли. — Электрический театр, — сказали они нам, открывается на этих днях. — И они предложили нам посмотреть его вместе.

Уже по ночам подмораживало. Уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке.

Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустера, что его «посадили». Он продал дерюгу, которою в пекарне «Восток» накрывались дежи.

К октябрю уже кончили строить собор. В име-

нины наследника происходило его «освящение». В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку.

Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в «фойе». Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скала́, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. — Господа, — закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене, — это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией. — Да, — подтвердила маман.

23

Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его «видовые» с озерами, «драмы», в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и «комические». — До чего это глупо, — довольные, произносили мы по временам. Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицмейстерской ложе.

Девица, которая разводила людей по местам, посадила один раз рядом со мной Карла Будриха.

Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, и я чувствовал жар его. — Карл, — хотел я сказать.

Младший Шустер пришел из тюремного за́мка, и отец не впустил его в дом. — Ты фамилию нашу, — сказал он, — снес в острог. — Он был видный мужчина с усами, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела́ мадам Ге́ниг, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров и она оказалась свободной.

Снег выпал. Кондратьева прикатила с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окна на гарнизонный собор. — Как прекрасно, однако, — оглядываясь, говорила она нам. Сергей Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караа́том. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом. — Крупичатый малый, — сказала она, и маман разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушали с четверть часа́. — Разговор идиоток, — сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним.

Софронычев стал приносить с собой в класс интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон». За копейку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за «крем».

Год назад я бы мог написать в «письмах к Сержу», что мне нравится, как в этих книжках льет

дождь, Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед, и он пьет горячительное. — Наконец-то я, — думает он, — отдохну. — Но внезапно раздается звонок, экономка бежит открывать, и доро́гою она изрыгает проклятия.

Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги «М. Лермонтов», я был — один. Горько было мне это. — Вдруг, — ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил, — мне сейчас кто-нибудь встретится: Мышкин или Алексей Карамазов, и мы познакомимся.

Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадмазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла «сонату апассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбежал, потому что Стефания Грикюпель вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расчищенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла «Агата», сестра Грегуара, — бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был — я не был знаком с ней.

Газета «Двина» занималась опять Александрою Львовной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Взволнованные, мы поспешили поздравить. — Билет ведь его, — рассказала она нам. — Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее. — Да, — говорила маман, — вспоминаю, как я была тогда рада за вас.

Мы узнали еще, что она собирается переселить-

ся в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький, и куда она к нам приезжала. Она не забыла еще, как ей нравился тамошний воздух. — К тому же, — сказала она, — там приличное общество. — Так, — вспомнил я, когда мы возвращались, — я думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить.

Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали — и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке, — то забирали. Сначала мадам Гениг высовывалась и давала ему из окошка еду, но отец не позволил.

Уже потемнели доро́ги. Днем таяло. Вечером небо было черно́, звезд в нем было особенно много. Все чаще вынимал я два «женских письма» («отчего вы задумчивы?» и «вы не такой, как другие») и снова читал их.

В церквах уже зазвонили по-постному. Мы исповедовались. Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про «воображение и память».

24

Даме из Витебска мы написали поздравление с пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою «Но́ли ме та́нгере». Эту картинку она уже нам присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного. Прочтя же, маман стала плакать. — Всё меньше, — сказала она

мне, — у нас остается друзей. — Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла.

Перед пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова. В день «божьего тяла» мы видели, стоя у окон, «процессию». Позже «Двина» описала ее, и маман говорила, что это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Наконец школьный год был закончен. В один жаркий вечер маман разрешила мне пойти с Шустером нá реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним. Возле костела он мне рассказал, как один господин «лежал кшижом» и выронил в это время бумажник, в котором хранил сто рублей.

В Николаевском парке мы увидели младшего Шустера. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой. — Мерзавец, — сказал я. Вдали нам видны были лáгери. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки, Либерман загорал, а денщик, словно прачка, шел с вальком на мостки портомойни.

Вдоль берегов на реке нагорожены были плоты. Перескакивая, мы добрали́сь до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками.

Я скоро начал ходить без него, потому что мне

было неловко с ним. Он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один, я валялся на бревнах и слушал, как вода о них шлёпается. Я читал «Ожидания» Диккенса, и мне казалось, что и меня что-то ждет впереди необычайное.

Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо. — Что такое? — дивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтригованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный, — называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напечатана, — возраст». — Так вот как, — сказал я, прочтя. Я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать.

С Александрою Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно «Свента-Гура». Со станции нас вёз извозчик, говоривший «бонжур». Мы задумались, воспоминания нас обступили.

«Вдова А. Л. Вагель», — уже красовалась доска на воро́тах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер «стрела́». Здесь жил раньше «граф Михась». Мы слышали, что он «умер во время молитвы».

Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понравилась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступе́ням.

Маман повела А. Л. Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осмотрел Свенту-Гуру. Базарная площадь окружена была лавками. Вы-

вески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цыперóвича. Дом к-ца Мамóнова, белый, украшен был около входа столбами. Над дверью аптеки фон-Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлопотавшихся старцев и скромных девиц.

Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо: — Это ваш сын? Это очень приятно. — Она угостила меня пфеферкухеном.

Вскоре «Человеколюбивое общество» было превращено в «Православное братство». Его председателем стал наш директор, а вице-председателем — Щукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Щукиной, хóром собора и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесён отцу Федору крест.

А. Л. Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слыхали о ней. Наконец фрау Анна, явясь с своим «вдовьим листом» в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А. Л. посетила «палац», но графиня не согласилась к ней выйти. А. Л. собирается основать в Свентой Гуре, подобно тому, как оно есть у нас, православное братство и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы», и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана. — Я представляю себе, как это будет красиво, — сказала маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.

25

Когда это было готово, А. Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в форме миски для суа. А. Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в средине. Кровь била дугой.

Мы остались у А. Л. до последнего поезда. После обеда из города к ней прикатила «мадам», и А. Л. занималась с ней. — «Ки се рессамбль», — бубнила она по складáм в «кабинете», — «с'ассамбль». — Потóм пришло много гостей — свентогурских чиновников, пенсионерок и дачников. А. Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор».

— Интересно, — заметил почтмейстер Репнин, — что у них на палáце есть палка для флага, а флага они не вывешивают. — После этого поговорили о том, как печально бывает, когда вдруг узнáешь, что кто-нибудь против правительства, и фрау Анна, которая, улыбаясь приятно, молчала, вдруг вздрогнула. — Я вспоминаю, — сказала она, — девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери.

Затем мы отправились в «парк». На А. Л. была автомобильная шляпа, в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошлись вслед за ней по дорожкам. — Гимн, — крикнул почтмейстер Репнин,

когда мы оказались на главной площадке, где были подмостки. Тут все сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой и синей бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали «ура», ликовали и требовали опять и опять повторения.

— Не понимаю зачем, — говорила маман, когда мы возвращались и, сидя в вагоне, смотрели на искры за окнами, — ве́ртятся возле нее эти малые — суриршин и бо́нинщин. — Я ничего не сказал ей. — «Опасный, — подумал я, — возраст», когда я пойму уже́ это, — пятнадцать, а мне еще только четырнадцать лет.

Через несколько дней после этого я получил письмецо. Маман не было дома, и оно не попало к ней в руки. — «Я очень прошу вас, — писали мне, — быть на бульваре».

Когда пришло время, я вышел взволнованный. Я задержался в дверях, потому что увидел Горшкову. Она растолстела. Живот у нее стал огромным. Чуть двигаясь, в шляпе с цветами и в пелерине из кружев, она направлялась в собор.

Переждав ее, я побежал. Мадам Гениг стояла у дерева и подстерегала меня. — Я смотрела, — загородив мне дорогу, сказала она, — во дворе, как развешивают там ваше белье. Все такое хорошее, и всего очень много. — Она попыталась схватить меня за руку. — Если бы, — томно вздохнув, заглянула она мне в глаза, — дети Шустера были как вы.

Из-за задержек я прибежал с опозданием. На месте свиданья я увидел Агату. — Прекрасно, — подумал я. — Пусть она смотрит и после расскажет обо всем Натали.

Она ёрзала, сидя на лавочке, и вытаращивалась. Проходил Митрофанов. Я с ним поболтал. Он сказал мне, что уже не вернется к нам в школу и будет учиться в коммерческом. Я понимал, что ему не должно быть удобно у нас после тех разговоров, которые у него состоялись с отцом Николаем на исповеди. Я подумал, довольный, что я никогда не поймался бы так. Я огляделся еще раз. Агата вскочила и села опять. Я пошел с Митрофановым. Дама, по приглашению которой я прибыл сюда, очевидно, не дождалась меня. Было досадно.

4 Простясь с Митрофановым, я возвращался по дамбе. Звонили в церквах. Громыхая, катили навстречу мне ассенизаторы. Я удивился, узнав среди них того Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной кланяться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему.

В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на́ голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в колбасную.

Похороны были очень торжественны. Шел полицейский и заставлял снимать шапки. Потом ехал пастор. За дрогами первым был Штраус. Его вели под руки Йозес (рояли) и Ютт. Дальше шли мадам Ютт, мадам Йозес и Бонинша, явившаяся из местечка. Затем начиналась толпа. В ней был Пфердхен, Закс (спички), Бодревич, Шмидт, Грилихес (кожа), отец Митрофанова. В кирхе звонили. Печальный, я смотрел из окна. Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних.

26

На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосаниваясь, я стоял независимо. — Двое и птица, — сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение «троицы». Я не ответил ему.

Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор. Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких «наблюдателей» освобождают от платы. Смотря ему на бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздёв, шестиклассник, покажет мне, что и как надо делать.

Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздёвым. — Не он ли, — говорил я себе, — этот Мышкин, которого я все время ищу?

На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с зеленоватыми глазками. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду.

Этот вечер был похож на весенний. Деревья раскачивались. Теплый ветер дул. Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды блестели сквозь них. Запах леса иногда проносился. Гвоздёв меня ждал на углу. Я сказал ему: — Здравствуйте, — и мне понравился голос, которым я это сказал: он был низкий, солидный, не такой, как всегда.

По дороге Гвоздёв рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Иван Моисеича и мадам Головнёвой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я, радостный, слушал его.

Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа, и концы их сигарок светились. Гвоздёв чиркал спичками «Закс». Из «физического кабинета» мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами. Мы постояли у них и послушали, как галдят на бульваре внизу.

Возвращаясь, мы шли мимо Ютта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздёв сообщил мне, что все украшения этого дома придуманы нашим учителем чистописания и рисования Сéппом. Он мне рассказал, что Сепп, Ютт и учитель немецкого Матц происходят из Дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут.

Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Грегуаром. — «Гвоздёв, — на мотив «мел, гвоздей» напевал я, оставшись один, — дорогой мой Гвоздёв».

Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные места.

Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. Назавтра Гвоздёв подошел ко мне на «перемене». На куртке у него сидел клоп. Это расхолодило меня.

Я представил Гвоздёва Софронычеву, и они подружились, и даже Грегуар записал это в свой «Календарь». Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его. — «Самое, — увидел я надпись, — любимое:

КНИГА — «БАЛАКИРЕВ»,
ПЕСНЯ — «ПО ВОЛГЕ»,
ГЕРОИ — СУВОРОВ И СКОБЕЛЕВ,
ДРУГ — Н. ГВОЗДЕВ».

Этой осенью я не ходил на кондратьевские именины. — Мне задано много уроков, — сказал я, — и кроме того, мне придется бежать еще на «наблюдение».

Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток. — Хорошо для здоровья, — сказала она мне. Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова.

Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были Шавские Дрожки вдали, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась А. Л.

Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток. Там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр. Гудели и горели лиловым огнем фонари. Конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинки скамеек, покачивались и вели разговоры под музыку зрители. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся, она мчалась по льду с Грегуаром. Схватясь за Гвоздёва, Агата, коротенькая, приналегала и не отставала от них. Карл Пфердхен, красуясь, скользил внутрь круга, проделывал разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и все чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд.

Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости. Раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно.

Как всегда, на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда — с «почты амура» я надеялся получить, как всегда, письмецо.

В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами, блистающий, был расположен оркестр. Евстигнеева пела, тщедушная, встав на подмостках во фронт. Было все как всегда. Не хватало одной мадам Штраус.

Стефания незаметно подкралась ко мне. — Сколько времени мы не встречались, — сказала она и, схватив меня за руку, стала трясти ее. Тут подоспела девица, которая, мечá в меня снегом, напала на меня один раз на катке, и Стефания ее мне представила. — Жаждет, — пояснила она, — познакомиться с вами. Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда вдруг испарились. — Девица кивала, чтобы подтвердить это. Крепенькая, она была рыжая, с «греческим» носом и узкими глазками. Звали ее, оказалось, Луиза Кугенау-Петрошка.

27

— Ну, я исчезаю, — сказала Стефания. С ужимками она показала ладонь, по-куриному, боком, взглянула на нас и шмыгнула куда-то. Луиза осталась, сияющая. Мы прошлись с ней вдоль вешалок и сообщили друг другу, какие у нас по какому предмету отметки.

От вешалок она повлекла меня в зал. Там, с скрещенными около груди руками, кавалеры и дамы ногами выделывали кренделя и скакали по кругу, отплясывая «хиавату». Припрыгивая, они боком отходили один от другого в противоположные стороны и, возвращаясь, сходились опять.

Натали в двух шагах от меня пронеслась с Либерманом. Она была счастлива. Глазки ее — они были коричневые — были подняты на́искось влево. Ее волоса, как у взрослой наплоенные, были взбиты, и в них была сунута фиалка.

Мне подали с «почты амура» письмо. В нем написано было: «Ого!» — и я вспомнил заметки Кондратьева на «Заратустре».

Луиза училась в «гимназии Брун» и свела меня с разными ученицами этой гимназии. Большею частью они были не в первый уже раз второгодницы и девицы в летах. Бродя толпами, все свое время они проводили обычно на воздухе. Я каждый вечер, примкнув к ним, старался увлечь их в места, на которых могла бы встретиться нам Натали. Я узнал, что она ходит к «залу для свадеб и балов» Абрага́ма, где дамба сворачивает и с нее можно видеть три четверти неба,. и оттуда любуется вместе с Софронычевыми кометой. Я стал заводить своих спутниц туда и, притопывая, чтобы ноги не мерзли, стоять с ними там и рассуждать о комете. Они ее видели, мне же ее почему-то ни разу не удалось разглядеть.

От Кармановых мы получили открытку. Они предлагали мне съездить на масленице посмотреть, что за город Москва. Мы решили, что я могу съездить. Маман подала заявление, и мне прислали бесплатный билет.

Я приехал в Москву в полуоттепель. В воздухе

было туманно, как в прачечной. Тучи висели. — Арбат, дом Чулкова, — сказал я, садясь один в сани. Большие дома попадались кое-где рядом с хибарками, и боковые их стены расписаны были адресами гостиниц. Поблизости где-то раздавались звонки электрической конки. Блестя куполами, стояли разноцветные церкви. Крестясь возле них, мужики среди улицы кланялись в землю.

Извозчик свернул, и мы стали тащиться за занимавшими всю ширину переулка возами с пенькой. Там мне встретилась Ольга Кускова. Мы ахнули. Я соскочил, и она, объявив мне, что я возмужал, обещала явиться к Кармановым.

Серж растолстел. Его рот стал мясистым, и около губ его уже что-то темнелось. Карманова, потерев краем кофты пенсне, с интересом на меня посмотрела, и я постарался, чтобы у меня в это время был «непроницаемый вид».

На столе я увидел фотографию, прикрытую толстым стеклом: рядом с мужем, обставленная симметрично троими детьми, Софи, грузная, с скучным лицом, опирается на балюстраду, обитую плюшем с помпончиками. — Кто сказал бы, — подумал я с грустью, — что это она так недавно, прекрасная, распростиралась у ног Либермана, играя с ним в драме, и так потрясала присутствующих, ломая перед ним свои руки, в то время, как он, отшатнувшись, стоял неприступный, как будто Христос на картинке, называемой «Но́ли ме та́нгере»?

Серж показал мне журнальчики «Сатирикон». Я еще никогда их не видел. Они чрезвычайно понравились мне, и мне жаль было оторваться от них, когда Серж стал тащить меня осматривать город.

Мы вышли. — Известно вам, Серж, — спросил я, когда мы отдалились от дома Чулкова, — что ваша мамахен прислала моей сочинение об опасностях нашего возраста? — Серж посмеялся. — Она вообще, — сказал он, — аматёрша клубнички. — Он мне рассказал, что она (по-французски, чтобы он не прочел) услаждает себя, например, Мопассанчиком. — Это, — спросил я его, — неприличная книга? — и он подмигнул мне.

Когда мы вернулись, он мне показал эту книгу. Она называлась «Юн ви». Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано было, что вот наконец-то и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы Европы — конституционные.

Вечером Ольга Кускова была, рассказала нам случай из жизни одного лихача и сказала, что, кажется, скоро Белугиных переведут в Петербург. Я и Серж проводили ее, и она сообщила нам, как всего легче найти ее дом: после вывески «Чайная лавка и двор для извозчиков» надо свернуть и идти до «двора для извозчиков с дачею чая». Она мне шепнула украдкой, что завтра будет ждать меня в сумерки.

Мы распростились. Навстречу мне с Сержем по переулку проехала барыня на вороных лошадях и с солдатом на козлах. — Серж, помнишь, — сказал я, — когда-то ты научил меня песенке о мадаме Фу-фу. — Мы приятно настроились, вспомнили кое о чем. О той дружбе, которая прежде была между нами, мы не вспоминали.

Назавтра у Кармановых были блины, и мне лень было после них идти к Ольге Кусковой. На следующий после этого день я уехал. С извозчика я увидел Большую Медведицу. — Миленькая, —

прошептал я ей: чем-то она мне показалась похожей на фиалку, которую я однажды заметил в волосах Натали.

28

— Моя мама, — сказала Луиза, — хотела бы, чтобы вы мне давали уроки, — и мы сговорились, что завтра из школы я заверну в «кабинет», а мадам Кугенау-Петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать.

По дороге попрыгивали и попивали из луж воробьи. На бульваре вокруг каждого дерева вытаяло и был виден коричневый с прошлогодними листьями дерн. Золоченые буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоком ваты, и ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачивалась и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугенау-Петрошка, меня догнала возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду.

Кугенау-Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубоврачебное кресло. Лицо у нее было пудреное, с одутловатостями, а волоса — подпаленные. Щурясь, как когда-то Горшкова, она принялась торговаться со мной. — Это принято уж, — говорила она, — что знакомым бывает уступочка. — Разочарованный, выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует, перед маман.

Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербочку. С гвалтом, подгоняемые подме-

тальщиками, побежали по краям тротуаров ручьи. — Щепка лезет на щепку, — хихикая, стали говорить кавалеры.

Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать «Гоголю как сыну церкви». Потом он служил панихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя «Тройку», сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. Учитель словесности продекламировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее.

Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство.

Во время экзаменов к нам прикатил «попечитель учебного округа», и я видел его в коридоре. Он был сухопарый и черный, с злодейской бородкой, как жулик на обложке одного «Пинкертона», называвшегося «Злой рок шахт Виктория». Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними. Могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них.

Снова я ходил каждый день на плоты. Я читал там «Мольера», которого мне посоветовал библиотекарь. А вечером я по привычке слонялся с ученицами Брун. Нам встречалась Луиза с своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня выжигою, влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у гимназисток, и все порицали ее.

Иногда, записав «наблюдение», я задерживался на училищной крыше. Я слушал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся

от заката зарю, на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал, что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приязнью друзей.

Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А. Л. теперь после обеда, одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд, размышляя о том, как составить свое завещание.

Маман меня стала возить в Свенту-Гуру. В столовой у А. Л. я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней была нарисована «Тайная ве́че́ря». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась «да-Винчи». Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее, и Сержа, восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза.

Оба мальца, Сурир и фон-Бонин, вертелись попрежнему возле А. Л. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они очень плохо воспитаны.

Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору и наскочил на А. Л. Она, скрючась, сидела на кочечке, в шляпе с шарфом, и, старенькая, подпершись кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден палац. Незамеченный, я ее пробовал издали гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне.

От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем есть что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории и Серж начал «жить» с ней, что «раз у него уж такой темперамент, то пусть

лучше с ней, чем бог знает с кем», и что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки.

— Серж любил публичность, — сказал я себе и приподнял перед зеркалом брови.

Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова принялась за обедом и ужином искоса уставлять на меня «проницательный взгляд». Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из «Опасного возраста». Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко.

Я был с ней на Уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. Отделясь от земли, он, жужжа, поднялся и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны.

Домой я вернулся один, потому что маман то и дело замечала знакомых и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то «кандидата на судебные должности», у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в Шавских Дрожках. Тогда я сказал ей, что «это естественно, так как противно сидеть в одном помещении с трупом». Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня.

Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.

29

Я думал об Ольге Кусковой, и мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда я их обеих не видел, напоминала Софи. Так недавно еще в Шавских Дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам «девушку боком, в малороссийском костюме». В лесу возле «линии», пылкая, когда проезжали «каратели», она грозила им вслед кулаком.

Приближался «молебен». С своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день, рано стало темно, дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Голубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его. Тихо покапывало. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью. Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услыхал интересные вещи.

На Уточкине, где мама была в шляпе, украшенной виноградною кистью и перьями, был полковник в отставке Писцов, и маман на него произвела впечатление. Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, — ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла, — и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением. — Благодарите, — сказала маман, — господина Писцова, но я посвятила себя воспитанию сына и уже не живу для себя.

Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности. — Трудно представить се-

бе, — зарыдала она, — до чего оскорбительна бывает их черствость.

С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают: — Черствый! Это он оскорбляет свою бедную мать.

Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно смотрел и казался таинственным. Он поразил меня. Я попытался покороче сойтись с ним. В училищной церкви я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему: — Двое и птица. — Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан (Кати Голубевой) и хотел подарить ему, но он не принял его.

С переклички я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас.

Андрей проводил меня до дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник «закона». — «Пустыня, — прочел он из главы о «монашестве пустынножительном», — бывшая дотоле безлюдною, вдруг оживилась. Великое множество старцев наполнило оную и читало в ней, пело, постилось, молилось». — Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев.

Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла маман «Библию». — Тут есть такое! — сказала она.

Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроясь на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду.

Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлеклась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами.

Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый, он был больше и толще меня и басил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его. — Вы, если что, — говорил он мне, — ставьте в известность меня. Я буду драть. — И рассказал, что дерет при полиции: дома мерзавец орет и соседи сбегаются. Я вспоминал тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне.

Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон Жуана». Они мне понравились летом, и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе.

В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздёвым с Софронычевым, над магистром фармации Юттом.

По праздникам, когда я стоял в церкви, я знал, что шагах в десяти от меня, за проходом, стоит Натали. Мое зрение, по-видимому, стало хуже.

Лица ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее головой.

Незаметно дожили мы до экзаменов. Утром перед «письменным по математике» в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подала мне конверт. В нем, написанные той рукой, что писала мне несколько раз через «почту амура», заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении городовой.

30

Помещик Хайновский, с усищами и одетый в какую-то серую куртку с шнурами, какую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня на лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему.

Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны-соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе, — смотрели.

Один как другой, одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий, шли дни. Перед праздниками иногда мимо нашего дома, раздувшаяся, в шляпе, с перьями, пудреная, волоча по земле подол юбки, в митенках, Горшкова, чуть тащась, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная

Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и, пока они там рассуждали, — стояли на улице.

Раз я, бродя, очутился у лагерей, встретил Андрея, и мы с ним прошлись. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них напечатано было «Денщик — лиходей». Затрубили «вечернюю зорю». Звезда появилась на небе. — Андрей, — сказал я, — я читаю «Сера́пеум». — Я рассказал ему то, что прочел там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают и правду нам удается узнать лишь случайно.

Настроясь критически, мы поболтали о боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был «Страшный мальчик».

— С Андреем, — говорил я себе, возвращаясь, — приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического. — И я вспомнил Ершова.

А. Л., как и в прошлом году, взойдя на гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтобы чаще бывать у нее, стала брать у нее «Дамский мир». Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвезти его.

Часто, раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь занимательное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть, мы должны погасить свет совсем. Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем.

Старухи, которые были в гостях у А. Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду. — Врачом, — говорила А. Л. за меня, так как я сам не знал, и я начал и сам

отвечать так. Со стула я видел картинку да-Винчи, но с места не мог ничего рассмотреть, подойти же к ней ближе при всех я стеснялся.

Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с «вечерей», изображенное на этой картинке.

В день «перенесения мощей Ефросинии Полоцкой» был «крестный ход», и маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Писцову, ходила в собор.

Возвратилась она из собора сияющая и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам. — Как прекрасно там было, — снимая с себя свое новое платье и моясь, красивым, как будто в гостях, с интонациями, голосом говорила она. — Было много цветов. Много дам специально приехало с дачи. — И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в «ходу» была рядом с госпожою Сиу и она была очень любезна и даже прощаясь, пригласила маман побывать у нее в Шавских Дрожках.

Она наконец покатила туда. В этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался. Обратно шел медленно. Парило. Тучи висели. Темнело. Бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах егозили. На улицах люди впотьмах похохатывали. Бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Гениг. Она задержала меня и сказала мне, что в таку погоду ей чувствуется, что она одинока.

Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время.

Маман прибыла в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?». Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована.

— Видела дочь? — спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома.

Маман занялась с того дня дрессировкой Евгении, сшила наколку ей на голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.

31

Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом, без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой.

Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курток рубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам. Он выписал «кафедру» и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее, между прочим, о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе.

Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу.

Невыспавшиеся, мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай.

У вокзала мы остановились и подивились на фурманов в шляпах и в узких ливреях с пелеринами и галунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробегали трамваи. Деревья и улицы были только что пóлиты. Город был очень красив и как будто знакóм мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький.

Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кирхе. — Зо загт дер апóстель, — с балкончика проповедовал пастор и жестикулировал. — Паулюс! — Здесь к нам подошел Фридрих Олов. Он был одет в «штатское». В левой руке он держал «котелок» и перчатки.

Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал туфельку Анны Иоановны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался. — Неужели, — восхищался он нами, — действительно вы изучили уже почти весь курс наук? — Обнявшись, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча похожа была на какое-то приключение из книги. Я рад был.

На взморье, очутясь без штанов и без курток, в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них.

После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина.

Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось «поклониться

мощам», и затем нам сказали, что каждый из нас может делать, что хочет, до поезда.

С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус.

После этого мы походили и набрели на «тупик». Изнемогшие, мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.

В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за ученьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.

По понедельникам первым уроком у нас было «законоведенье», и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в «штатском», в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.

Наш директор любил все обставить торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и дек-

ламировали, и в числе их на подмостки был выпущен я.

Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пфердхен и сказал: — Поздравляю. — Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пéйсах Лéйзерах обнял меня. — Ты поэт, — объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.

Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки. — Мы знаем уже, — говорили они. Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к ним под шумок.

— Я хотела бы с вами, — сказала она мне, — немного поговорить фамильярно. — Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад, с ее матерью. — Сразу заметно, — польстила она, — что у вас есть свой форс.

Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла́ меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стишками. Он сам сочинил их.

Я снес их в училище и показал кой-кому. Мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за «всенощной».

32

Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, поворотил. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.

Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спины соседей от взоров Иван Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.

Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. — Это, — пожимая плечами, сказал я, — который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.

Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее. — Слушай, — сказал я Ершову, — прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.

— Ну, и гусь, — закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, приподнял ее и прижал к себе. Я тихо отнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, который окончил училище в прошлом году, и оно ему было немножко мало. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом.

Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему да-

му, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.

В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». — «Лучший, — писал я ему, например, — проводник христианского воспитания — взор. Посему надлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства» — или «эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». — Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.

От виадука мы медленно доходили до «зала для свадеб». Безлюдно, темно и таинственно было на дамбе. С деревьев иногда на нас падали капли. Дорога устлана была мокрыми листьями. На повороте мы долго стояли. На тучах мы видели зарево от городских фонарей. Лай собак доносился из Гривы Земгальской.

Ершов рассказал мне, что отец его прошлой весной бросил службу в акцизе и купил себе землю за Полоцком. Вся семья жила там. Поэтически говорил мне Ершов о приезде к ним в усадьбу одной польской дамы, которую вечером он и отец, с фонарями в руках, провожали до пристани. Мне было грустно, что я в этом роде ничего не могу рассказать ему.

В городе он жил один у канцелярского служащего Олехновича, и Олехнович хвалил его в письмах, в которых подтверждал получение денег за комнату. Кроме Ершова, жила у него еще классная дама Эде́мска. Она каждый вечер вздыхала за чаем, что снова ничего не успела и прямо не знает, когда доберется наконец до ксенджарии

«Освята» и выпишет там на полгода «Газету — два гро́ша».

Ершов говорил мне, гордясь и оглядываясь, что отец его вегетарьянец и даже состоит в переписке с Толстым; что, когда еще он был акцизным, ему при поездке на одну винокурню подсунули овощи, которые сварены были в мясном котелке, и он их по неведению съел, но душа его скоро почувствовала, что тут что-то не так, и тогда его вырвало; и что однажды он видел на улице, как офицер бьет по морде солдата за неотдание чести, — и трясся, когда возвратился домой и рассказывал это.

Меня удивляло немного в Ершове его восхищение отцом, и мне было приятно, что вот и Ершов не без слабостей. Этим он еще больше пленял меня. Я вспоминал «письма к Сержу» и думал, что если бы я продолжал их еще сочинять, то теперь я, должно быть, писал бы: — «Ах, Серж, очень счастлив может быть иногда человек».

Но приманки, которые были у меня для Ершова, все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по вечерам и не стал отвечать на записки. — Ты хочешь отшить меня? — встав, как всегда, рядом с ним за обедней, спросил я. Презрительный, он ничего не сказал мне.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошел. Олехнович в плаще с капюшоном и в чиновничьей шапке, сутулясь, появился на улице. Он успел сбегать куда-то и возвратиться при мне. Борода у него была жидкая, узенькая, и лицо его напоминало лицо Достоевского.

С булками в же́лтой бумаге, с мешочком, обшитым внизу бахромой, и в пенсне с черной лен-

той прошла от угла до ворот классная дама Эдемска. Она здесь была уже дома. Отбросив свою молодецкую выправку, съежась, она семенила понуро.

У глаз я почувствовал слезы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть. Я подумал, что я никогда не узнаю уже, подписалась ли она наконец на газету.

Сначала я надеялся долго, что дело еще как-нибудь может уладиться. Ревностно я сидел над Толстым и над Чеховым, запоминая места из них и подбирая, что можно было бы сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему.

Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе, дня мы узнали, что умер Толстой. В этот день я решился попробовать: — Умер, — сказал я Ершову, подсев к нему. Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне, что жалко, что Пушкин убит.

В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки: «Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает с неба, а Христос обнимает его и целует».

Она сообщила, что был разговор обо мне. Сиу были любезны спросить у нее, любитель ли я танцевать, и она им сказала, что нет и что это прискорбно: кто пляшет, тот не набивает свою голову разными, как говорится, идеями.

Я покраснел.

33

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесть наконец за латинский язык. Наш учитель немецкого Матц обучал ему и помещал раз в неделю в «Двине» объявление об этом. Я с ним сговорился.

Кухарка отворяла мне дверь и вводила меня. — Подождите немножечко, — распоряжалась она. Я рассматривал, встав на носки, портрет Матца, висевший на стене над диваном, среди вееров и табличек с пословицами. Синеглазый, с румянцем и с желтенькими эспаньолкой и ёжиком, он нарисован был нашим учителем чистописания и рисования Сеппом.

Являлся сам Матц, неся лампу. Поставив ее, он ее поворачивал так, чтобы переведенная на абажур перево́дная птичка была мне хорошенько видна.

— «Сильва, сильвэ» — смотря на нее, начинал я склонять. Потом Матц объяснял что-нибудь. Я старался показать, что не сплю, и для этого повторял за ним время от времени несколько слов: «эт синт ка́ндида фа́та туа́» или «пульхра эст».

Раз мы читали с ним «дэ амитиције верэ». Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он счастлив был в дружбе.

Однажды, когда я от него возвращался, я встретился с Пе́йсахом. Мы походили. У «зала для свадеб» мы остановились и, глядя на его освещенные окна, послушали вальс. Я старался не думать о том, что недавно я здесь бывал с другим спутником.

Пе́йсах разнежничался. Как девицу, он взял меня под руку и обещал дать мне список той

оды, которую в прошлом году сочинил наш учитель словесности. Я помнил только конец ее:

Русичи, братья поэта-печальника,
  Урну незримую слез умиления
В высь необъятную, к горних начальнику,
  Дружно направим с словами прощения:
Вечная Гоголю слава.

— Зайдем, — предложил он, когда, повторяя эти несколько строк, мы вошли в переулок, в котором он жил. Я пошел с ним, и он дал мне оду. Мы долго смеялись над ней. Я бы мог получить ее раньше, и тогда бы со мной мог смеяться Ершов.

Рождество подходило. Съезжались студенты. Выскакивая на «большой перемене», мы видели их. Через год, предвкушали мы, мы будем тоже ходить в этой форме, являться к училищу против окон директора, стоя толпой, с независимым видом курить папироски.

Приехал Гвоздёв. Он учился теперь во Владимирском юнкерском. Он неожиданно вырос, стал шире, чем был, его трудно узнать было. Бравый, печатая по тротуарам подошвами, он подносил к козырьку концы пальцев в перчатке и вздергивал нос, восхищая девиц. К Грегуару он не заходил и при встрече с ним обошелся с ним пренебрежительно.

В день, когда нас распустили, я видел, как ехала к поезду классная дама Эдемска. Торжественная, она прямо сидела. Корзина с вещами стояла на сиденье саней рядом с нею. Могло быть, что только что эту корзину ей помог донести до калитки Ершов.

В первый день рождества почтальон принес

письма. Евгения в белой наколке, нелепая, точно корова в седле, подала их: Карманова, Вагель А. Л., фрау Анна и еще кое-кто — поздравляли маман. Мне никто не писал. Ниоткуда я и не мог ждать письма. За окном валил снег. Так же, может быть, сыпался он в это утро и над «землею» за Полоцком.

Блюма Кац-Каган была коренастая, низенькая, и лицо ее было похоже на лицо краснощекого кучера тройки, которая была выставлена на окне лавки «Рай для детей». Она кончила прошлой весною «гимназию Брун» и уехала в Киев на зубоврачебные курсы. В один теплый вечер, когда из труб капало, выйдя, я увидел ее возле дома. Она прибыла на каникулы.

— Вы не читали, — сказала она мне, — Чуковского: «Нат Пинкертон и современная литература»? — Заглавие это заинтересовало меня. Я читал Пинкертона, а про «современную литературу» я думал, что она — вроде «Красного смеха». Я живо представил себе, как, должно быть, смеются над ней в этой книжке. Мне очень захотелось прочесть ее.

С дамбы я посмотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка. Я сказал, что сегодня лед мягкий, и Блюма со мной согласилась.

— Но дело не в том, — заявила она. — Я читала недавно один интересный роман. — И она рассказала его.

Господин путешествовал с дамой. Италия им понравилась больше всего. Они не были муж и жена, но вели себя так, словно были женаты.

— Ну, как вы относитесь к ним? — захоте-

ла узнать она. Я удивился. — Никак, — сказал я.

Против «зала для свадеб», когда мы стояли впотьмах и нам слышен был шум электрической станции, оркестр вдали и собачий лай, ближний и дальний, Кац-Каган раскисла. Она, обхватив мою руку, молчала и валилась мне на бок. Я вынужден был от нее отодвинуться. Я ее спрашивал, помнит ли она, как когда-то сюда приходили смотреть на комету. Она мне сказала, что нам еще следует встретиться, и сообщила мне, как ей писать до востребования: «К-К-Б, 200 000».

В течение этой зимы Тарашкевич приглашал меня несколько раз, и я ходил к нему. Кроме меня, там бывал Грегуар и один из пятерочников. Он показывал нам, как решаются разного рода задачки. Потом нам давали поесть и поили наливкой. Приязнь возникла тогда между нами. Прощаясь, мы долго стояли в передней, смеялись, смотря друг на друга, опять и опять начинали жать руки и никак не могли разойтись.

Я с особенной нежностью в эти минуты относился к Софронычеву. — Ты встречаешься, — ласково глядя на него, думал я, — каждый день с Натали. Как и я, ты по опыту знаешь, что такое коварство друзей.

Тарашкевич сидел на одной скамье с Шустером. Он разболтал нам, что Шустер посещает Подольскую улицу. — Шустер, — говорил я себе, пораженный. Я вспомнил, как я не нашел в нем когда-то ничего интересного. — Как все же мало мы знаем о людях, — подумал я, — и как неправильно судим о них.

Рано выйдя, я утром стал ждать его. — Шустер, — сказал я и взял его за руку. Сразу же я спросил его, правда ли это. Польщенный, он все рас-

сказал мне. Он ходит по пятницам, так как в этот день там бывает осмотр. Он требует книги и узнает, кто здоров. Номера разгорожены там не до самого верха. Однажды там рядом оказался его младший брат, перелез через стенку и стал драться стулом. Теперь его не принимают в домах: — Если хочет ходить туда, то пусть ведет себя как подобает.

34

Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, полюбопытствовал в этом году, «прелюбы сотворял» ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя, что последнее в моей жизни говенье прошло.

Мне еще раз пришлось выступать на подмостках — в тот день, когда праздновалось «освобождение крестьян». Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства разочаровалась и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот.

Пе́йсах очень хвалил меня. — Ты показал им один раз, — говорил он, — что ты это можешь, и хватит с них. — Он одобрял теперь все, что я делал. Но я не его одобрения хотел.

Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В «Раю для детей» вместо санок на окнах уже красовались мячи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык.

— Все равно всего курса я не успею пройти, — говорил я, и, кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врачом.

Я успел из уроков латыни узнать, между прочим, что «Нóли ме тáгере», подпись под картинкой с Христом в простыне и девицей у ног его, значит «Не тронь меня».

Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что «попечитель учебного округа» может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем.

Была панихида. Отец Николай сказал проповедь. Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушать «медицинскую тайну».

У Грилихеса бастовали. Маман кипятилась, и я удивлялся ей. — Если бы только уметь, — говорила она мне, — то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней.

Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полный таинственности Грегуар и любезный пятерочник. Вынув конверт, Грегуар положил перед нами бумагу с задачками. — Ну-ка, — сказал он. Пятерочник эти задачки решил нам. Они на другой день были нам даны на экзамене.

Мы издолбились. В день спали мы по три или по четыре часа, и маман изводилась. — Когда, — говорила она, — это кончится? — Нá ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов.

Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получили «свидетельства». С «кафедры», на которой стоял стакан с ландышами, говорились

напутствия. То засыпая, то вздрагивая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там очутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их. — Истина, благо, — по обыкновению, красноречиво воскликнул он, — и красота!

Пришел вечер, и в книжечке для «наблюдений» я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь.

Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказал нам, что его сын помешался оттого, что не выдержал в технологический. — Он все науки, — сказал нам Канатчиков, — выдержал и только плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал.

Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал, есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гонясь за отметками по математике, и оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят.

В «участке», когда я ходил за «свидетельством о политической благонадежности», я видел Васю. Он быстро прошел. — Нет, мадам, — на ходу говорил он бежавшей за ним неотступно просительнице. По привычке, я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед, и, когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть, кого водят за этим в полицию.

Шустер гостил у отцовской сестры за Двиной в «пасторате», и я не встречался с ним. Пе́йсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым маман отправлялась дежурить.

Он раз показал мне ту одну, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику «освобождения крестьян». Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня.

Пейсах должен был вместе с своею семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к «котелку» и носил вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полшага, я случайно попал взглядом в стекло.

— Погоди, — сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листики. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях и написано было «Давали в кредит».

За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу Гривы Земгальской. Свистя, пришел на́ берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс.

Быстро сбросив с себя все, коричневый, он остался в одной круглой шапочке и побежал в ней к воде. Пробегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему «Здравствуй», но я не осмелился.

Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором

я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их.

Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.

РАССКАЗЫ

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

КОЗЛОВА

1

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет бог и расточатся враги его.

Козлова приложилась и, растирая на лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла «Интернационал».

— Мерзавцы, — шептала Козлова, — гонители... — Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски.

Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье.

Вот — чай. Мосье рассказывает о лурдской богородице. Авдотья отворяет дверь и подсматривает. Козлова показывает на нее глазами. — Приветливая женщина, — говорит мосье. Потом он берется за шляпу, Козлова встает, и они отра-

жаются в зеркале: он, аккуратненький, седенький, раскланивается, она — прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах — старомодная улыбка. — Приходите, мосье...

А вот — в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья. — Как грустно, мосье... — Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном.

— Так и вы, мосье, забудьте нас, как сон.

— О, мадмуазель!

Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб», — напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечера Козлова просиживала на лежанке — штопала белье или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский день — ходили с Авдотьей в баню, орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. — Гражданка, гражда-

ночка, — высовываясь из будок, зазывали торговки, — барышня или дамочка!

Иногда приходила Суслова, и долго пили чай: хозяйка — чинная, с любезной улыбкой, гостья — растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях.

— В Петербурге я кого-то видела, — рассказывала круглощекая Суслова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая — с адмиралтейством). — Не знаю, может быть, саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и — порх в подъезд.

— Может быть, экономка с покупками, — отвечала Козлова.

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров.

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.

— Мерзавцы, гонители...

— Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?

Потом взошла луна, и души смягчились... В соборе трезвонили. В саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Демещенку, Гаращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками.

Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой:

— Венеция, — прошептала Козлова.

— «Венеция э Наполи», — ответила Суслова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно: — Когда горел кооператив, загорелись духи, и так хорошо пахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу — в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано:

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб».

Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед канцелярией забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду.

Столб с преображением и зеленым куполом стоял над кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображением.

«Недолго мучиться», — радостно думала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно — хотела сходить к Сусловой, но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Солнце садилось, и закат был простенький: одна полоска — красноватая и одна — зеленоватая.

Козлова была любительница поливать. — Когда поливаешь, — говорила она, — душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Лила двенадцатую лейку, и луна блестела в быстро исчезавших лужицах. Загремел оркестр. Козлова бросилась к воротам.

Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на виселице. Свет пробегал по лицам маршировщиков.

— Ать, два! Левой!Да здравствует коммунистическая партия! Ура!

Разинув рот, маршировала Суслова.

Из темноты прибежала Авдотья: — Англия воюет.

Пред киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью. С светлым лицом, Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. — Пасха, — наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Суслову.

3

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол, дребезжа, подпевали стекла.

Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: — Товарищ Ленин.

Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую.

— Завтра — Иоанна-воина, — сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. — Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и знаете — ее забрали и присудили на три года.

«Хорошая женщина, — подумала Козлова, — религиозная... Сутыркина, кажется».

Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: — Вы где живете?

Вышли вместе: Козлова — степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина — вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями.

У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем».

Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной.

— Свое холщовое пальто, — говорила Сутыркина, — я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них караулила сад. Жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу, не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера!

— Вы говорите, в девятнадцатом году, — сказала она любезным и приятным голосом. — Помните, все тогда ахали — того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиться хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды.

— Вы не были на губернской олимпиаде? — спрашивала иногда Сутыркина, — почти совсем голые! Фу, какое неприличие. — И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась, и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида...

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись клены. Рябины с красными кистями напомнили Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала Сутыркина: — Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов.

Козлова поджала губы.

— Знаете, — с достоинством сказала ей Сутыр-

кина, — я всегда соображаюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку — пополнять свои сельскохозяйственные знания.

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету.

— Вот два интересных объявления.

Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина — к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое — от епископа: седьмого ноября во всех церквах будет торжественная служба и благодарственный молебен.

— Понимаете, какое теперь веяние?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника.

Александра Николаевна вышла за Петра Ивановича — стоя под венцом, они блистали красотой. А Алексей Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была молоденькой...

Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Суслова — красная, в большом платке, с петухом под мышкой.

— Ну, как? — бормотала она. — Давно не встречались... Тяжело жить. Вот, купила петуха — на два раза. При такой-то семье... Мусью не пишет?

Козлова взяла ее за руки. — Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки.

Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам...

Из ворот был виден монастырь святого Кукши — тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились: красно-коричневый дворец, желтое адмиралтейство...

Сегодня вечером чувствительная Суслова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из «Приложений», будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином. — Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, — скажет Козлова. — Настоящей дружбы у нас с ней не было.

На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье Пуэнкарэ.

1923

Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула с улицы Германской Революции на улицу Третьего Интернационала.

С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами.

Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо.

Дверь хлопнула. Торговки, сидя на котелках с горячими углями, предложили Кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он, радостный, спустился на реку.

«Пожалуй, — мечтал он, — уже разделась. Ах, черт возьми!»

Ледяная корка на снегу блестела на вечернем солнце. Погоняя лошадей, мужики ехали с базара. Вереницами шли бабы с связками непроданных лаптей и перед прорубью ложились на брюхо и, свесив голову, сосали воду:

— Животные, — злорадствовал Кукин.

Когда он шел обратно через сад, луна была высоко, и под перепутанными ветвями яблонь лежали на снегу тоненькие тени.

«Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков», — подумал Кукин, и ему представились захватывающие сцены между

ним и Лиз, расположившимися на белых лепестках.

Он посмеялся шуткам молодых людей, которые подзывали извозчиков и говорили «проезжай мимо», и в приятном настроении повернул в свой переулок.

Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной еловыми ветвями двери висело объявление: труппа батальона ставит две пьесы — «Теща в дом — все вверх дном» и антирелигиозную.

Чайник был уже на самоваре. Мать сидела за Евангелием.

— Я исповедовалась.

Кукин сделал благочестивое лицо, и под тиканье часов «ле руа а Пари» стали пить чашку за чашкой — седенькая мать в ситцевом платье и ее сын в парусиновой рубахе с черным галстучком, долговязый, тощий, причесанный ежиком.

2

В канцелярию приковыляла хромоногая Рива Голубушкина и велела идти к Фишкиной — графить бумагу.

— Читали газету? — спросила она, подняв брови: — Есть статья Фишкиной: «Не злоупотребляйте портретами вождей». — И, откинув голову, она выкатила груди.

Было холодно. В открытое окно дул мокрый ветер. Рива усердно переписывала. Кукин, стоя, разлиновывал.

Фишкина, приблизив темное лицо к его руке, смотрела, и ее черная прическа прикоснулась к его бесцветным волосам. Тогда она встряхнулась и отошла к окну.

Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная. Потом негромко высморкалась и, повернувшись к комнате, сказала:

— Товарищ Кукин.

Приотворилась дверь, и кто-то заглянул. Она надела желтую телячью куртку и ушла.

— Вы ей понравились, — выкатывая груди, поздравляла Рива и таинственно оглядывалась. — Старайтесь к ней подъехать: она вас будет продвигать. Жаль только, что нас с ней переводят. Но ничего, я вам буду устраивать встречи.

— Возможно, — радовался Кукин. — В конце концов, я не против низших классов. Я готов сочувствовать. — И, ликуя, он насвистывал «Вставай, проклятьем».

Красные и синие шары метались по ветру над бородатым разносчиком. На углах голосили калеки. От дома к дому ходила старуха в черной кофте:

Подайте милостыньку, Христа ради,
Что милость ваша —
Кормилица наша,
Глухой больной старушке.

У ворот с четырьмя повалившимися в разные стороны зелеными жестяными вазами Кукин положил руку на сердце: здесь живет и томится в компрессах Лиз. У нее нарывы на спине — в газете было напечатано ее письмо, озаглавленное «Наши бани».

В библиотеке висели плакаты: «Туберкулез! Болезнь трудящихся!» — «Долой домашние! Очаги!»

— Что-нибудь революционное, — попросил Кукин.

Девица с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам.

— Сейчас нет. Возьмите из другого. «Мерседес де-Кастилья», сочинения Писемского...

Ах, черт возьми! а он уже видел себя с теми книжками — встречается Фишкина: — Что это у вас? Да? — значит, вы сочувствуете!

Мать сидела на диване с гостьей — Золотухиной, поджарой, в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой.

— Не слышно, скоро переменится режим? — томно спросила Золотухина, протягивая руку.

— Перемены не предвидится, — строго ответил Кукин. — И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

— Где хороша весна, — вздохнула Золотухина, — так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»... Ну, а вы, молодой человек: вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое...

Она зажмурилась и покрутила головой.

— Еще бы, — сказал Кукин. — Культурная жизнь... — И ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: — Играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью... О, Петербург!

— Идемте, идемте, — звала Золотухина. — Долой Румынию.

Кукина отнекивалась, показывала свои дырявые подметки...

Ходили долго.Развевались флаги и, опадая, задевали по носу.

Эх, вы, буржуи,
Эх, вы, нахалы.

Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками.

— Вот, все развалится, — вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домишки, — где тогда жить?

Фишкина презрительно посматривала направо и налево: — Фу, сколько обывательщины!

Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива и, пожимая плечами, отворачивалась: он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, марширована и вертела поясницей Лиз. Когда переставали трубы, Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой:

— В губсоюз принимают исключительно по протекции...

В канцелярию пришел мальчишка:

«Не теряйте времени, — прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса. — Подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читали «Сад пыток»? — чудная вещь».

— Лиз, — сказал Кукин, — я вам буду верен...

— Плохи стали мои ноги, — жаловалась мать. — Сделала студень и оладьи, хотела отнести владыке, но, право, не могу. Попрошу бабку Александриху, а ты будь любезен, Жорж, присмотри за ней издали.

— Сейчас, — сказал Кукин и, дочитав «Бланманже», закрыл переложенную тесемками и засушенными цветками книгу.

— Ах, — вздохнул он, — не вернется прежнее.

Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками на насыпанной вдоль батальона песочной полоске: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Лиз лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела.

Кукин остановился и обдергивал рубашку. Лиз засмеялась, покачнулась, сорвалась с места и отправилась.

За ней бы! — но нельзя было оставить без присмотра Александриху.

Возвращались вместе — Александриха в холщовом жилете и полосатом фартуке и унылый Кукин в парусиновой рубашке с черным галстучком — и белесым отражением мелькали в черных окошках.

— Утром дух бывает очень вольный, — рассказывала Александриха... Бегали мальчишки и девчонки. Хозяйки выходили встречать коров. В лоске скамеек отсвечивалась краснота заката.

Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба — какое предзнаменование!

4

В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами.

Солнце жарило подставленные ему спины и животы.

— Трудящиеся всех стран,— мечтательно говорил Кукину кассир со станции,— ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?

Шурка Гусев, мокрый, запыхавшись, с блестя-

щими глазами прибежал по берегу и схватил штаны:

— Девка утонула!

Толпились мужики, оставив на дороге свои возы с дровами, бабы в армяках и розовых юбках — с ворохами лаптей за спиной, купальщицы — застегивали пуговицы.

— Вот ее одежда,— таинственно показывала мать Ривы Голубушкиной, кругленькая, в гладком черном парике с пробором.— Знаете ее обыкновение: повертеть хвостом перед мужчинами. Заплыла за поворот, чтобы мужчины видели.

«Почему вы к ней не подъезжаете? — писала Рива.— Я опять пришлю билет. Будьте обязательно. Есть вокальный номер:

Деньги у кого,
Сад наш посещает,
А без денег кто —
В щелки подглядает.

После него сейчас же подойдите: — Что за обывательщина! Я удивляюсь; никакого марксистского подхода!»

Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. Тихо прилетел звук маленького колокола, звук большого — у святого Евпла зазвонили к похоронам.

Бросились к окнам, посрывали на пол цветочные горшки, убрали ставни.

— Курицыну,— объявила Золотухина, по пояс высунувшись наружу.

Кукина перекрестилась и схватилась за нос: — Фу!

— Чего же вы хотите в этакое пекло,— заступилась Золотухина.— А мне ее душевно жаль.

— Конечно,— сказал Кукин,— девушка с образованием...

После чаю вышли на крыльцо. Штрафные пели «Интернационал».

Блеснула на гипюровом воротнике серебряная роза.

— В ротах,— встрепенулась Золотухина,— в этот час солдаты поют «Отче наш» и «Боже, царя». А перед казармой — клумбочки, анютины глазки... Я люблю эту церковь,— показала она на желтого Евпла с белыми столбиками,— она напоминает петербургские.

Все повернули головы. По улице, презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесунчовой юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина.

— Интересная особа,— сказала Кукина.

Жорж поправил свой галстучек.

1924

ЕРЫГИН

1

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волоса чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова идти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лугу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч.

«Физкультура,— подумал Ерыгин,— залог здоровья трудящихся».

Базар был большой. Стояла воница. Китайцы

показывали фокусы. На будках висели метрические таблицы.

— Подайте, граждане, кто сколько может, ежели возможность ваша будет.

Ерыгин прошелся по рядам — не торгует ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов, мордастый, в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Красная Пресня. Наслаждались погодой и пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой на руке:

— Клеопатра — русское имя?

— Да.

— А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папиросу и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев.— Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать.— Так как же на бухгалтерские? — Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом,— короче.— Бухгалтера прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведра. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другою с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крохотными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте.

— Я извиняюсь,— сказала она.— Не знаете, откуда эта музыка?

— Возвращаются со смычки с Красной Армией,— ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот, если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно.

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрагивала голову — не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы; розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной. Мать штопала. Ерыгин переписывал:

Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за Красной Армией. Бандитов расстреляли. Начдив уехал, а Настя выкинула из избы иконы и записалась в РКП(б).

2

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила.

Они проезжали через разные страны и нигде не видели такой свободы.— Ура! — играла музыка, торжествовали и, гордясь отечеством, смотрели друг на друга.

— Сóвьет репёблик!

— Реакшьон фашишт!

Возбужденные, вернулись. Разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и Двенадцатью Произведениями Мировой Живописи, Ерыгин — за решетку.

Захаров и Вахрамеев подскочили расспраши-

вать. Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, черт побери, проспали.

Впустили безработных...

Небо побледнело. Загремела музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвила окоп и приколола к кофте резеду.

Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу.

Девицы выходили из калиток и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер — в пользу наводнения.

— Под руководством коммунистической партии поможем трудящимся красного Ленинграда!

Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музей. Их обгоняют дюжие матросы — бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом...

— Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата! — Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгальские огни.

Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, набеленная, с свиными глазками, и с ней — кассир Едрёнкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбредались. Без грохота обогнала телега, блестя шипами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской.

— Ты? — удивилась мать.— Скоро!

«Настя» будет напечатана. Пишите»...

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязывали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку из баллады.— Кинематограф,— посмеялась мать и засучила рукава — мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блестел. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными и красными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку.

— Мы поступили на бухгалтерские.

— Нет,— сказал Ерыгин,— у меня в голове другое.

Он пошел. Они взобрались на перила и спрыгнули.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракитами. В шляпе набекрень, она была похожа на разбойника. Ерыгин сделал подкозырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной Армии или ответственных работников не приходило в голову.

Шагает рота, красная, с узелками и вениками, хочет квасу...

Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генералову. А у него на кушетке Фаня Яков-

левна с Красной Пресней — принесли котлету.— Товарищ, прошу оставить этот кабинет...

А постороннее, чего не нужно, вертелось:

Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: «Немцы — звери».— На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенькие императорши, в медалях, с голыми плечами и с улыбками...— До свиданья.— Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня — сует солдатам мармелад. Последние три штучки отдает Ерыгину...

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна — красная, тусклая, кривая. Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой, и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны были тарелки с хлебом и горчичницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша.— Бельгийский город Льеж посмотрите? — подкрадывался панорамщик. Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские.

Будет много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса:

дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выглядывают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь». Возвращаясь, плевалась.

Висели тучи. С канцелярии убирали транспаранты и гирлянды из крашеных бумажек: — Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа.

За рекой было бело — с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег... Что-то припомнилось. Барабанный треск, песок, тонко исчерченный... По зеленой улице с серыми тропинками разгуливают архиерей и нэпманша — затевают контрреволюцию. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай. Зовет ее в РКП(б), она — ни да, ни нет. В чем дело? Вот Гадова выходит кормить кур. Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговор. Мужественно преодолевает он свою любовь. Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит.

1924

САВКИНА

1

Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки.

Дунуло воздухом.— Двери! Двери! — закричали конторщики. Вошел кавалер — щупленький, кудрявый, беленький...

Солнце грело затылок. Гремели телеги. Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина. Морковникова, затененная бутылками, смотрела из киоска.

Блестя трубами, играли похоронный марш. Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов.

Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки.— Все так прилично одеты,— уверяла Олимпия и таращила глаза.— У некоторых приколоты розы... Ах, родина, родина!..

Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

Накрыли стол.— Не очень налегайте на пироги,— предупредила мать и пригорюнилась:— Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания.

Разделавшись с посудой, Савкина припудрилась, взяла тетрадь и, втирая в руки глицерин,

вышла за сараи почитать стишки. Кукель в синем фартуке доил корову.

— Обижаются, что без ксендза,— пожаловался он.— А когда я — партейный.

На обложке тетради был Гоголь с черными усиками:

«Чудень Днѣпръ при тихой погодѣ».

Появилась маленькая белая звезда. Савкина, мечтательная, встала и пошла к воротам.

У Кукеля шумели поминальщики. Где-то наигрывали на трубе. Павлушенька, с побледневшим лицом и мокрыми волосами, вернулся с купанья. Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки.

2

На полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Савкина заваривала чай. Павлушенька брился.

Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками, чесала волосы.

— Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел,— сказала она, — и поставила бы свечку.

В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Свечного ящика не оказалось. Низенький ксендз Валюкенас сделал перед алтарем последний реверанс и отправился за перегородку. Вздохнув, поднялась и прошла мимо Савкиной Марья Ивановна Бабкина, француженка,— в соломенной шляпе с желтым атласом, полосатой кофте и черной юбке на кокетке, обшитой лентами.

Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Воняло табачищем и кислятиной. Стенная газета «Красный Луч» продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...

Оглядывая друг друга, расхаживали по залу. Мимоходом взглядывали в зеркало. Савкина, в лиловой кофте пузырем, смеялась и шмыгала глазами по толпе. Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски!

— Буржуазно одета, — показывал он. — Ах, чтоб ее!..

На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах... И вот, мисс Май все опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывавшему в ее мечтах. Вдруг из автомобиля выскочил Байбл — в охотничьем костюме и тирольской шляпе.

Савкина была взволнованна. Ей будто показали ее судьбу...

Лаяли собаки. Капала роса. Морковникова в киоске, освещенная свечой, дремала.

После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу.

Окна флигеля были раскрыты и забрызганы

известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене.

На деревьях зеленели яблоки. Небо было серенькое, золотые купола — белесые. Гуляльщики галдели. Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией.

На мосту сидели рыболовы. В темной воде отражались зеленоватые задворки. Купались два верзилы — и не горланили.

Савкина вошла в воротца. Пахло хвоей. На крестах висели медные иконки. Попадались надписи в стихах. За кустами мелькнул желтый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса.

Дома — пили чай. Сидела гостья.

— Наука доказала, — хвастался Павлушенька, — что бога нет.

— Допустим, — возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо. — Но как вы объясните, например, такое выражение: мир божий?

Расправляя юбки, Савкина уселась. Налила на блюдечко.

— Опять я их встретила.

— Не собирается ли в католичество? — мечтательно предположила гостья.

— Проще, — сказал Павлушенька и махнул рукой. Мать, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Посмеялись.

— Съешьте плюшечку, — усердствовала мать, — американская мука — вообразите, что вы — в Америке!

Савкина грустила над стишками. Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: «Наробраз, обрати внимание».

Савкина, растрепанная, валялась на траве. Била комаров. Сорвала с куста маленькую розу и нюхала. Она устала — задержали переписывать о поднесении знамени.

Приятно улыбаясь, из калитки вышла с башмаком в руке новая жилица и пошла к сапожнику... Мимо палисадника прошел отец Иван.

— Роза, Роза, — вбежал в дом Павлушенька. — Где моя газета с статьей про Бабкину? — Запыхавшись, высунулся из окна. — Нюшка, где газета? Мы с ним подружились. Как я рад. Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка...— Этот, — говорит, — пень, давайте выкопаем и расколем на дрова.

Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся.

— Идите за сарай, — сказала мать в комнате. — Он там с сыном новой жилицы: подружились.

Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы. Мать в доме зашаркала туфлями. Загремела самоварная труба.

— Иди, зови к чаю.

Всех коммунаров,—

пели за сараями,—

Он сам привлекал
К жестокой, мучительной казни.

Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот, щупленький.

1924

ЛИДИЯ

1

На руке висела корзинка с покупками. Одеколон «Вуайаж» Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

Лейся, песнь моя,
Пионерска-я!

Коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря на ноги марширующих, солидно покрикивал:

— Левой!

— Это кто ж такой? — спросила Зайцева.

— Вожатый, — пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

— Здравствуйте, — сказал он. — Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела за забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с плоским куполом.

— Рай был прекрасный сад на востоке.

Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету. — Каковы китайцы, — восхищался он. Напился чаю и лег спать.

Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

— Водили к козлику? — интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе. Выплыла луна.

— Я пробовала все ликеры, — сказала Дудкина задумчиво. — У Селезнева, на его обедах для учителей.

2

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина еле поспевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

— Принимаю икону, — похвалилась она.

— А мы — к утопленнику, — крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные.

— Дом Зуева, — вздохнула Дудкина. — Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались по двое и по трое солдаты.

Над водоворотом толклись зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку — нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Молодые люди в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

— Нырни, — веселились они, — и скажи: под лавкой.

Смеялись: — Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали.

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами: — Эх, молодость!

— «Левой!» — замечталась Зайцева.

Возвращаясь, поболтали о политике.

— Отовсюду бы их, — кипятился муж.

— Нет, я — за образованные нации, — не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

3

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда — повеселел.

— Утопленник, — рассказывал он новость, — выплыл.

Зайцева купила кнопок. Бил фонтанчик, и краснелись низенькие бегонии и герани перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

«Закусочная всех холодных закусок», — прочла Зайцева над дверью. Вскочила.

— Я мыла голову, — уныло улыбаясь, сказала

толстая хозяйка с распущенными волосами. — Откупорила квас. У меня печник: вчера поставила драчёну — получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от грудей прилипавшую кофту.

— Радуга! — Девица выскочила. Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастенький, без пояса, босиком, размахивая хворостиной, выпроваживал на улицу козла.

— Ихний? — просияла Зайцева.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу, маршировали:

Красная Армия
Всех сильней!

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза. Зайцева позвала:

— Лидия, Лидия!

— Лидия, Лидия, — вывесились из окон дефективные.

Закат светил на вывеску с четырьмя шапками. Играли вальс. В окне лавчонки висел ранец.

— Жоржик, — закричала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. — Не женское имя, — объясняла она.

1925

СОРОКИНА

1

Заходил правозаступник Иванов с брюшком и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни.

Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала. Смотрела равнодушно и снисходительно, как ленивая учительница. Над стулом висел календарь и Энгельс в кумачной раме.

Ломились в лавки. Несло постным. Взлетали грачи с прутьями в клювах. Гора на другом берегу была бурая, а зимой — грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя.

Перед ротой командир,—

пели солдаты,—

Хорошо маршировал.

С полотенцем на руке, Сорокина смотрелась в зеркало: под глазами начинало морщиться.

Пришел отец, веселый:

— Я узнал рецепт, как варить гуталин.

Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну.

— Пахомова! Вся изогнулась. Откинулась назад. Остановилась и оглядывается.

И, поправив черную наколку, осанисто, словно дама на портрете в губернском музее, посмотрела на отца.

Он, бравый, с висячим носом, как у тапира в «Географии», стоял перед зеркалом и протирал стетоскоп.

Тучи разбегались. Старуха Грызлова, в черной мантилье с кружевами и стеклярусом, несла церковную свечу в голубом фарфоровом подсвечнике.

— Сегодняшний ветер, — подняла она палец,— до вознесенья.

То там, то здесь ударяли в колокол.

Сорокина поколебалась. Нищая открыла дверь.

Тоненькие свечи освещали подбородки. Духовные особы в черном бархате толпились на средине, перед лакированным крестом.

— Глагола ему Пилат!..

Пахомова, в толстом желтом пальто, не мигая, смотрела на свою свечку.

Моргали звезды. Сторож, задрав бороду, стоял под колокольней:

— Нюрка! шесть раз бей.

— Я полагала, вы неверующая, — подошла курносенькая регистраторша Мильонщикова.

Вертелась карусель, блестя фонариками, и, болтая пестрыми подвесками, медленно играла краковяк.

Русский, немец и поляк,—

напевала Мильонщикова.

Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

— Ваня, не падай.

— Кто это?

— Не знаю. Вылитая копия Дориана Грэя — как вы полагаете?

Ваня. Плескались в вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками.

Ваня.

2

На скамейках губернского стадиона сидели няньки. Голый малый в коротеньких штанишках, задыхаясь, бегал вдоль забора.

Сорокина встала и, оглядываясь, медленно пошла.

— Вы не Василий Логинович? — прислонясь к воротам, тихо спросил пьяный.

Грудастая девица сунула записку и отпрянула:

«Придите, послушайте слово «За что умер Христос».

Цвела картошка. На оконцах красовались занавесочки, были расставлены бутылки с вишнями и сахарным песком. Побулькивали граммофоны.

Поздоровалась дебелая старуха в красной кофте — уборщица Осипиха.

— Товарищ Сорокина, — сказала она, — я извиняюсь: какая чудная погода.

Голубые и зеленые пространства между облаками бледнели.

На гвозде была чужая шапка и правозаступникова палка с монограммами.

Самовар шумел. На скатерти краснел отсвет от вазочки с вареньем.

— Религия — единственное, что нам осталось, — задушевно говорила мать. — Пахомова — кривляка, но она — религиозная, и ей прощаешь.

И, держа на полдороге к губам чашку, значительно глядела на отца.

Он дунул носом.

Правозаступник принялся рассказывать таинственный случай. В тени на письменном столе показывал зубы череп.

Фонари горели под деревьями. Музыканты на эстраде подбоченивались, покуривали и глазели.

Заиграл вальс. Притопывая, кавалеры чинно танцевали с кавалерами. Расходясь, раскланивались и жали руки.

Сорокина ждала в потемках за скамейками.

Вот он. Шапка на затылке, тоненький...

Если бы она его остановила:

— Ваня, —

может быть, все объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а в шесть.

— Не забираться же с пяти, раз — в шесть.

Она взяла бы его за руку. Он ее повел бы:

— Мы поедем в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен».

3

Мать вышла запереть. В сандалиях, она стояла низенькая, и ее наколка была видна сверху, как на блюдечке.

Старуха Грызлова прогуливалась — в пелерине. Нагибалась и рассматривала листья на земле.

— Шершавым кверху, — примечала она, — к урожаю.

В открытое окно Сорокина увидела затылок ее внучки. Она сидела за роялем и играла вальс «Диана».

Правозаступник Иванов, опершись на окно, стоял снаружи. Покачивая головой, он пел с чувством:

Дэ ин юс вокандо.
Дэ акционэ данда.

И его чванное лицо было мечтательно: приходила в голову Италия, вспоминался университет.

Развевались паутины. Под бурыми деревьями белелась церковь с синими углами.

— Мама, — кляузничала девчонка за забором. — Манька поросенка то розгами, то — пугает.

Библиотекарша смотрела на входящих и угадывала:

— «Джимми Хиггинс»?

По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных шляпах.

— В Америке рекламы пишутся на облаках...— Мечтали.

В сквере подкатилась Осипиха с георгиной на груди и старалась разжалобить:

— Говорят, я гуляка, — горевала она, — а я и дорог не знаю.

— В первую декаду — иссушающие ядра, — предложил газету зеленоватый старичок, — во вторую — обложные дожди.

Подсела Мильонщикова:

— Пройдемся в поле.

Голубенькое небо блекло. Тоненькие птички пролетали над землей.

— Помните, — оглянулась и понизила голос Мильонщикова, — однажды весной мы обратили внимание...

Молчали. В городе светлелись под непогасшим небом фонари.

Расстались не скоро.

— Эти звезды, — показала Сорокина, — называются Сэптэнтрионэс...

Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки.

Тикали часы. Били. Тикали.

Собака за окном лаяла по-зимнему.

«Дориан, Дориан», — там и сям было напечатано в книге:

— «Дориан, Дориан».

1925

СИДЕЛКА

Под деревьями лежали листья.

Таяла луна.

Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице. На лугах за речкой блестел лед, шныряли черные фигурки на коньках.

— Здоро́во, — трогал шапку Мухин. Улыбаясь, бежал вниз. Выше колен — белело от футбола.

Толкались перед дворцом труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие, — говорила Катя Башмакова и смотрела Мухину в глаза...

Наконец отправились. Играла музыка. На кумаче блестела позолота. Над белыми домами канцелярий небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, торчало что-то тощее.

— Вдруг там скелет, — хихикала товарищ Окунь.

Сдернули холстину. Приспустились флаги. Заиграл оркестр. У памятника егозили, подсаживали взлезавших на трибуну.

— Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач!

Вертелись. Сзади было кладбище, справа — исправдом, впереди — казармы.

Щекастая в косынке — сиделка, — высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил. На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями — зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком, с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к обелиску с головой товарища Гусева на острие.

Сиделка уходила.

— Мне необходимо, — устремился Мухин. — Пардон.

Дорогу перерезали. Трубя, маршировали — хоронили исключенную за неустойчивость самоубийцу Семкину.

Вы жертвою пали.

Ее приятельница, кандидатка Грушина, ревя, смотрела из ворот.

— Дисциплинированная, — похвалил растратчик Мишка-Доброхим, — в процессии не участвует.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на две — ближнюю и дальнюю.

Запихав руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

— Выпустили? — встрепенулся и поздравил его Мухин.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой, — простился Мишка. — Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник — образец монументального искусства...

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет, — покачал Мухин головой печально,— кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно, — согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептались. Шелестели листья под ногами.

Шли под руку. Задумчивые, напевали:

Чистим, чистим,
Чистим, чистим,
Чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды. Зашли в купальню и жалели, что не захватили скамеечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билет...

В столовой «Моссельпром» гремела музыка. Таинственно горела маленькая лампа. — Где вода дорога́? — говорили за столиком. — Рога у коровы, вода — в реке.

За прилавком дремала хохотушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: — Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Я чуть не познакомился с сиделкой, — сказал Мухин.

1926

ЛЕШКА

Лешка соскочил с кровати. Мать дежурила.

Склонившись, словно над колодцем, чуть белелась полукруглая луна. Не шевелилась жидкая береза с темными ветвями. На траве блестели капельки. Поклевывая, курицы с цыплятами бродили по двору.

Покачивая животом, в черном капоте с голубыми розами, по лестнице спустилась Трифониха. У нее в руке был ключ, а на руке висела вышитая сумка с тигром.

— Фу, — покосилась Трифониха, — поросенок! — и, важная, отправилась за булками.

— Я мылся, — крикнул ей вдогонку Лешка.

Усатый водовоз, кусая от фунта ситного, гремел колесами. Пыль сонно поднималась и опять укладывалась.

— Дяденька, — умиленно попросился Лешка, — прокати, — и водовоз позволил ему сесть на бочку.

Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, кондукторша в очках, которая гнала корову и замахивалась на нее веревкой, и четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.

— Обокрали чердак, — показал водовоз и ссадил Лешку на землю.

Солнце поднялось и припекало. Освещало ситный в чайной Силебиной. Мальчишка из кинематографа расклеивал афиши. Там было напечатано: «Бесплатное», но Лешка не умел читать.

В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке.

Трансваль, Трансваль...

Было хорошо у палисадника. Забор уже нагрелся и был теплый, сзади пригревало плечи, пахло клевером.

Матрос...

А мать уже вернулась и перед осколком зеркала чесала волосы.

Пили кипяток с песком и с хлебом. Отдувались. Мать велела не ходить на речку и, задернув занавеску, легла спать.

Вдруг загремела музыка. Все бросились.

Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны. Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.

Вслед! с мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая:

— В лес!

Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.

Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У Лешки колотилось сердце. Он бежал на речку — за матросом.

Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке — вскочили.

Матрос!

Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и поплыл. На его руке был синий якорь, мускулы вздувались — как крученый ситный у Силебиной на полке.

— Это я его привел, — хвалился Лешка.

Было жарко. Воздух над рекой струился. Всплескивались рыбы. Проплывали лодки, женщины в цветных повязках нагибались над бортом и опускали в воду пальцы.

Купальщики боролись, кувыркались и ходили на руках.

А солнце подвигалось. Было сзади, стало спереди — пора обедать.

Мать ждала. Картошка была сварена, хлеб и бутылка с маслом — на столе.

Наелись. Мать похваливала масло. Облизали ложки. Вышли на крыльцо.

Во дворе, разостлав одеяла, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове.

— И мы устроимся, — обрадовалась мать и сбегала за одеялом.

Лежали. Лешка положил к ней на колени голову. Она перебирала в его кудлатых волосах.

По небу пролетали маленькие облачка в матросских куртках, облачка, похожие на ситный и на вороха белья.

— Бабочки, — вскочила мать, — купаться так купаться: опоздаем на бесплатное.

Бесплатное!

Повскакали, зашмыгали, повязали головы и выбежали за ворота. Бегали наперегонки и смеялись, а потом притихли и печально пели:

Платье бедняги за корни цепляется,
Ветви вплелись в волоса.

Срывали жесткую высокую траву — класть под ноги, когда выходишь на берег. Тек горький белый сок и засыхал на пальцах.

Молотя ногами, плавали и, взвизгивая, приседали. Лешка, стоя у воды, месил ступнями грязь. Садилось солнце. Начали кусаться комары.

Квакали лягушки. Небо выцвело. Трава похолодела.

Пыль в колеях лежала теплая и грела ноги. Улица кипела. Все спешили на бесплатное.

Шел водовоз, поглядывая сверху вниз, как с бочки, и крутя усы.

Помахивая рукой, как будто в ней была веревка, торопилась старая кондукторша, и весело бежали обокравшие чердак четыре жулика.

Был гвалт. Стояли очереди к мороженщикам. Шуршала подсолнечная шелуха. В саду горели фонари, играла музыка и бил фонтан. Мать потерялась. Маленьких в кинематограф не пускали. Лешка заревел.

Темнело. Музыка кружилась невысоко, прибитая росой. Силебина сидела на крылечке — тихо, тихо, задумчивая, не замахивалась полотенцем, не орала.

В палисаднике, впотьмах, матрос тихонечко наигрывал на балалайке:

Трансваль, Трансваль.

Он, как и Лешка, не был на бесплатном — миленький...

Вздыхая, по двору прохаживалась Трифониха и, любуясь звездочкой, жевала. Из сумки с тигром вынула пирог и протянула Лешке.

Сидя на ступеньке, он стал есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки — соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на берег.

1926

КОНОПАТЧИКОВА

1

Бросая ласковые взгляды, инженер Адольф Адольфович читал доклад: «Ильич и специалисты».

Добронравова из культкомиссии, стриженая, с подбритой шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке. Следующее выступление ее: «Исторический материализм и раскрепощение женщины».

Конопатчикова, низенькая, скромно посмотрев направо и налево, незаметно поднялась и улизнула. — Боль в висках, — пробормотала она на всякий случай, поднося к своей седеющей прическе руку, будто отдавая честь.

Плелись старухи с вениками, подпоясанные полотенцами. Хрустел обледенелый снег. Темнело. Не блестя горели фонари.

Звенел бубенчик: женотделка Малкина, поглядывая на прохожих, ехала в командировку.

Сидя на высоком табурете, инвалидка Кац, величественная, отпустила булку. Стрелочник трубил в рожок. Въезд на мост уходил в потемки, и оттуда, вспыхнув, приближалась искра. Обдало махоркой, с песней прошагали кавалеры:

Ветер воет, дождь идет,
Пушкин бабу в лес ведет.

Гудели паровозы. Дым подымался наискось и, освещенный снизу, желтелся. Из ворот, переговариваясь, выходили Вдовкин и Березынькина: поклонились праху Капитанникова и были важны и торжественны.

Конопатчикова с ними кое-где встречалась. Она остановилась и приветливо сказала: — Здравствуйте.

Негромко разговаривали и печально улыбались: Конопатчикова в шерстяном берете с кисточкой, Вдовкин, плечистый и сморкающийся, и Березынькина, кроткая, с маленькой головкой. Раздался первый удар в колокол. Примолкли и, задумавшиеся, подняли глаза. Вверху светились звезды.

— Жизнь проходит, — вздохнул Вдовкин и прочел стишок:

Так жизнь молодая
Проходит бесследно.

Дамы были тронуты. Он чиркнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы.

Сговорились вечером пойти на стружечный.

2

«Машинистка Колотовкина, — поглядывая на часы, сидела Конопатчикова за губернской газетой, — пассивна и материально обеспечена.

Зачем писать ей на машине?
Может играть на пианине».

Зашаркали в сенях калоши. Постучались Вдовкин и Березынькина. Похвалили комнату и осмотрели абажур «Швейцария» и карты с золотым обрезом. Тузы были с картинками: «Ль эглиз дэз Энвалид», «Статю дэ Анри Катр».

— Парижская вещица, — любовался Вдовкин. — Я и сам люблю пасьянсы, — говорил он.— «Дама», например, «В плену», «Всевидящее око»...

—«Деревенская дорога», — подсказала Конопатчикова.

Вытянули перед собою руки, вышли. Пахло ладаном. Учтивый Вдовкин осветил ступеньки зажигалкой.

Наверху захлопали дверьми: Капитанничиха выбежала в сени убиваться по покойнике.

— И зачем ты себе все это шил, — причитала она, —

— Если ты носить не хотел? — и притопывала.

— И зачем ты пол в погребе цементом заливал, если ты — жить не хотел?

Остановились и, послушав, медленно пошли по темным улицам, оглядываясь на собак.

«Жизнь без труда», — было написано над сценой в театре стружечного, — «воровство, а без искусства — варварство». Оркестр играл кадриль.

Рвал, рявкая, железные цепи и становился в

античные позы чемпион Швеции Жан Орлеан. Скакали и плясали мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, тряся юбчонками, вскрикивали под балалайки:

Чтоб на службу
Поступить,
Так в союзе
Надо быть.

— Эх, — сияя, передергивал плечами Вдовкин. Конопатчикова улыбалась и кивала головой...

Морозило. Полоска звезд серелась за трубою стружечного. Постукивало пианино. В форточке вертелся пар. За черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась.

— Счастливые, — скрестила на груди ладони и задумалась Березынькина.

— Они, — проникновенным голосом сказала Конопатчикова, — читают книгу, очень интересную. Заглавие выскочило у меня из головы.

Поговорили о литературе...

Улыбающаяся, полная приятных мыслей, Конопатчикова ощупью нашла края лампы: загорелись звезды над швейцарскими горами и цветные огоньки в окошках хижин и лодочных фонариках.

В дверь поскреблись. В большом платке, жеманная, вскользнула Капитанничиха. С скромными ужимками, перебирая бахрому платка, она просила, чтобы завтра Конопатчикова помогла в приготовлениях к поминкам.

— Не откажите, — двигала она боками, егозливая, и прижимала голову к плечу. — Я загоню его костюмчики, и пусть все будет хорошо, прилично.

3

У Капитанничихи кашляли духовные особы. Пономарь в сенях возился над кадилом. Конопатчикова, проходя, взяла щепотку дыма и понюхала.

Блестел на колокольне крест. Флаг над гостиными рядами развевался. Тетка Полушальчиха кричала и потряхивала капитанниковскими костюмчиками.

— Маруська убивается? — спросила она, наклоняясь и прикрывая рот рукой, и, выпрямившись, в черном плюшевом пальто квадратиками, гордая, победоносно огляделась.

Конопатчикова в ожидании бродила. Солнце пригревало. Под ногами хлюпало.

Дремали лошади. Толкались с бабами солдаты в шлемах, долгополые и низенькие. Середняки, столпившись за возами, пили из зеленого стаканчика.

Вдоль домов, по солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпачке, прохаживался инженер Адольф Адольфович. Он жмурился на свет и улыбался людям на крылечке, согнувшись ждавшим очереди в зубоврачебный кабинет его жены.

Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбежались. Мужики смотрели, опустив кнуты. Вздыхали бабы в кружевных воротничках на зипунах и в елочных бусах.

Народу было много. Капитанничиха вскрикивала. Вдовкин, подпевая, шел с склонившей набок голову Березынькиной. Конопатчикова проводила их глазами.

— Продала, — сказала, протолкавшись, Полушальчиха и показала деньги. Начали покупки для поминок.

Возвращались на дровнях, спиною к лошади. Блестела на дороге жижа. Воробьи кричали. Убегал базар. Беседовали, выйдя постоять на солнце, оба в фартуках, кондитер Франц и парикмахер Антуан...

Капли с крыши падали перед окном. Сизо-лиловый дым взлетал над паровозами. В плите шумел огонь.

Внизу, перебирая струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров. В углах темнело.

— Никишка, — говорила Полушальчиха и плакала над хреном, — нарисовал картину «Ленин»: это — загляденье.

На кофейной мельнице был выпуклый овал с голландской королевой Вильгельминой. Конопатчикова медленно молола, стоя у окна. Задумавшись, она глядела вслед начальнику милиции, скакавшему, красуясь, в сторону моста и инвалидки Кац. Воспоминания набегали.

4

Поблескивали рюмки, и бутылки, толстобрюхие и тоненькие, мерцали. Капитанничиха, в черном платье, прилизанная, постная, стояла у стола и, горестная, любовалась.

Конопатчикова, скромно улыбаясь, завитая и припудренная, сидела на диване и сворачивала в трубку листик от календаря: рисунок «Нищета в Германии» и две статьи — «О пользе витаминов» и «Теория относительности».

— Благодари, Марусенька, — учила Полушальчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свах».

Входили гости. Конопатчикова выпрямлялась и в ожидании смотрела на отворявшуюся дверь...

Стучали ложки, и носы, распарившись над супом, блестели. Полушальчиха, одетая кухаркой, в фартуке, прислуживала. Кланялись Маруське, подымая рюмочки. Она откланивалась, скорбная, и выпивала.

Повеяло акацией. Любезно улыбаясь, прибыла внушительная Куроедова. — Как ваши, — с уважением справлялись у нее, — на стружечном? — Они, — засуетилась Конопатчикова, — еще читают эту книгу интересную? — «Тарзан»? — спросила Куроедова, глотая.

Красные, блаженно похохатывая и роняя вилки, громко говорили. — Есть смысл, — доказывала Куроедова, — покупать билеты в лотерею. Наши, например, недавно выиграли игрушечную кошку, херес и копилку «окорок».

Маруська слушала, зажав в колени руки и состроив круглые глаза, как тихенькая девочка, умильная, и приговаривала: — Выпейте.

Никишка встряхивал свисавшими на бархатную куртку волосами. — Искусство, — восклицал он. Полушальчиха пришла из кухни и, гордясь, стояла. — Тайна красок!

— Жизнь без искусства — варварство, — цитировал рабкор Петров... Зеленое кашне висело у него на шее.

— Я не могу, — заговорил задумавшийся Вдовкин, — забыть: в Калуге мы стояли у евреев; в самовар они что-то подсыпали, и тогда распространялось несказанное благоухание.

— В Витебске, — нагнувшись, заглянула Конопатчикова ему в лицо, — к вокзалу приколочен герб: рыцарь на коне. Нигде, нигде не видела я ничего подобного.

Березынькина, запрокинув голову, с закрытыми глазами, счастливая, макала в рюмку кончик языка и, шевеля губами и облизываясь, наслаждалась.

1926

ИЗ КНИГИ „ПОРТРЕТ"

ПРОЩАНИЕ

Зима кончалась. В шесть часов уже светло было. Открыв глаза, Кунст видел трещины на потолке, из трещин получалась юбка и кривые ноги в башмаках с двумя ушками. За стеной сиделка уже шлепала своими туфлями без пяток и будила раненого. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. — Безобразие, — говорила она и показывала головой на стену. Замолчав, она прислушивалась и потом смеялась. Кунст краснел.

В студенческом пальто, с кусочком хлеба, завернутым в газету «Век», в кармане, он выходил из дома. Снег был темен. Почки рóжками торчали на концах ветвей. Старухи возвращались из хвостов и прижимали к кофтам хлебы. Сумасшедшие солдаты, разбредясь из лазаретов, бормотали на ходу. Встречалась прачка Кýбариха и здоровалась. — Порядочные люди разбежались, — горевала она, — нет уже тех жильцов. — Вот и она — впустила к себе фею, уличную бабочку.

Звенел трамвай. — Вперед пройдите, — восклицал кондуктор. Лед на реках посерел уже. Перед домами было сухо. Саботажники с газетами кричали на углах. За Троицким мостом Кунст вылезал и шел по набережной. Темные дворцы смот-

рели мрачно. Каменные старики стояли в рыжих нишах, разводя руками и выделывая па.

Иван Ильич уже писал, тщедушный, за большой конторкой с перламутровыми птицами, и Мирра Осиповна, поправляя волосы, уже сидела. В меховом воротнике, она поеживалась и подрагивала. — Слушайте, я замерзаю, — говорила она томно и драпировалась.

Прибегал начальник Глан, коротенький, в коротеньком костюме, и, усевшись в кресло, разворачивал свою газету «Луч». — «Навстречу голоду!» — прочитывал он громко. Девушка Маланья, колыхая мякотями, разносила чай. Мужчины на нее посматривали сбоку. Заходил инструктор Баумштейн с докладом, и начальник Глан величественно слушал его. — Честь имею, — козырял инструктор Баумштейн и подмигивал девицам. — Но какой он интересный, — удивлялись они. — Я пишу магистерскую диссертацию, — взглянув на окна, говорил тогда Иван Ильич, — и каждый вечер я на несколько часов позабываю эту жизнь. — Ах, я понимаю вас, — роняла набок голову и нежно улыбалась Мирра Осиповна.

— Время, — наконец, сорвавшись с места, складывал начальник Глан свой «Луч». Все схватывались. Доставалась пудра и карандаши для губ. Иван Ильич смотрелся в лак конторки и со скромным видом освежал пробор. У выхода стояли саботажники с газетами. — Вичернии, — кричали они звонко и приплясывали. Хлопали себя руками по бокам и топали ногами низенькие генералы с «Новым Временем». Шпиль крепости блестел. Морские облака летели.

Сбросив обувь и взяв в руки «Век», Кунст осторожно, чтобы не измять штаны, укладывался на кровать. Сиделка за стеной похрапывала. Возвра-

щалась из конторы Фрида и шумела. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. — Что в газетах? — говорила она и присаживалась. — Фрида все поет. Она такая поэтическая. Я была другая. — Иногда, таинственно хихикнув, она делала игривое лицо. — Письмо, — с ужимками вручала она и хитро смеялась: — Верно, от хорошенькой. — Кунст брал конверт и, посмотрев на свет, вскрывал. Писала тетка. «Приезжай, — звала она. — Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Стаял снег. Подсохло. Лед прошел — с дорогами и со следами лыж. На улицах уселись бабы с вербами. — Нам будет выдача, — обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич. — Мед с пчелами, — вскочила Мирра Осиповна и, считая, отогнула палец. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась. — Красная икра и грушевый компот в жестянках! — К концу дня костлявая девица с желтой головой промчалась через комнату. — Не расходитесь, — объявила она.

— Ждите. Я поеду на грузовике за выдачей. — Возьмите двух вооруженных, — закричали ей. — Возьму, — сказала она, обернувшись, и светло взглянула: — И сама вооружусь. — Девица Си́мон, — проводив ее глазами, посмотрел Иван Ильич вокруг. — Пожалуй, правильнее было бы Симóн, — предположил он погодя, подумав. Ждали долго. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась: — Как коров поить, — сравнила она. Тени появились. За окном газетчики кричали нараспев: Ви-чер-нии.

Кунст, опершись на подоконник, тихо подтянул им, и Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

слезы лились
из вокзала, —

шепотом пропели они вместе и сконфузились. Настала пасха. Делать было нечего. Кунст спал, смотрелся в зеркало, ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли. — Ах, что́ вы получили, — разглядела она и прижала к сердцу руки. — Фриде дали воблу: тоже хорошо. — В соседней комнате сиделка угощалась с сослуживицами. Ударяли в бубен, пили спирт и крякали. Они ругали раненых: — Чуть выйдешь, — говорили они, — а уж он порылся у тебя в корзине. — Дезинфекцией тянуло от них. Фрида, поэтическая, распустила волосы, открыла в коридоре форточку и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед палисадником. Кунст вышел, и они пошли за ним. Он встретил Ку́бариху в праздничном наряде. — Заверните, — зазвала́ она и подала кулич с цветком на верхней корке и яйца. Фея — уличная бабочка — была приглашена. Красиво завитая, она скромно кашляла, чтобы прочистить горло, и учтиво говорила «да, пожалуйста», и «нет, мерси». — Вот то-то, — одобряла ее Ку́бариха, и она краснела.

Раздвигая прошлогодний лист, полезли из земли травинки. Птичка завелась на Черной речке и по вечерам посвистывала. Фея принялась ходить под окнами. Конфузясь, Кунст задергивался занавеской. Беженцы из Риги стали приезжать из города по воскресеньям. Сняв чулки и башмаки, они сидели над водой. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них. — Мои компатриоты, — поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть и сняла свой воротник. Она носила с собой ветки с маленькими листиками и, потребовав у девушки Маланьи

кружку, ставила их в воду. Забегал инструктор Баумштейн и, нагнувшись, нюхал их. — Ах, — заводя глаза, вздыхал он. — Утро года, — говорил Иван Ильич, обдергиваясь. Перламутр на его конторке блестел. За окнами синелось небо, Кунст засматривался, и письмо от тетки вспоминалось ему.

Приоткрыв однажды дверь, девица Си́мон крикнула, что выписали наградные. — Неужели? — поднялась и томно сомневалась Мирра Осиповна. Девушка Маланья появилась среди шума. — Получать, — осклабясь, позвала́ она. Все ринулись. — Расписывайтесь, — ликовала за столом бухгалтерша и стригла листы денег. — Дельная бабенка, — толковали про нее, толпясь. — Урок для скептиков, — сказал Иван Ильич и посмотрел на Мирру Осиповну. Девушка Маланья шлепнула кого-то по рукам. Приятно было. Через день пришел мужчина и созвал собрание: союз не допускает наградных. Постановили, что их нужно вычесть, и вернулись на места уныло. — Я не ожидала, — говорила Мирра Осиповна мрачно. Вытащив из кружки свою ветку с листьями, она ломала ее. — Вы читали Макса Штирнера? — согнувшись и повеся нос, бродил Иван Ильич. Кунст думал, положив на ру́ки голову. «Я еду», — написал он тетке и купил билет. В последний раз хозяйка принесла вечерний чайник. — Я сама уехала бы, — села она и потерла рукавом глаза. — Курляндская губерния, — потряхивая головой, торжественно сказала она, — никогда не позабуду я тебя. — Кунст вышел на крыльцо. Луна без блеска, красная, тяжеловесная, как мармеладный полумесяц, пробиралась над задворками. Закутавшись в большой платок, сиделка, неподвижная, сидела на ступеньке. Кунст сел выше. Красный

запад был исчерчен пыльными полосками. Далеко свистнул паровоз. — Фильянка, — прошептала, не пошевелясь, сиделка. — Может быть, приморская, — подумал молча Кунст. С рассветом подкатил извозчик. Капал дождь. — Прощайте, — крикнула с крыльца хозяйка. — Прощайте, — обернулся Кунст. — Прощайте, — высунулась Фрида из окна. — Прощайте. — Поэтическая, в одеяле и чепце, она махала голыми руками. Фея — уличная бабочка, позевывая, шла домой. — Прощайте.

ЛЕКПОМ

Человек сошел с поезда, вытащил зеркальце и огляделся. К нему подбежала дожидавшаяся возле звонка телеграфистка.

— Фельдшер? — спросила она и стояла, как маленькая, смотря на него. Он поднял брови, соединявшиеся на переносице, и взглянул снисходительно:

— Лекпом, — поклонился он.

Идти было скользко. Он взял ее под руку.

— Ах, — удивилась она.

Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик.

— Сюда. — С трех сторон темнелись сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. Взбежали по лестнице, в кухне сняли пальто и повесили их на дверь.

В комнатке было тепло. Мать дышала за ширмой.

— Разбудить? — заглянув туда, вышла на цыпочках телеграфистка.

— Нет, — помахал он галантно руками. — До поезда долго, пусть спит. — Оборачиваясь, она

выкралась в кухню и стала греметь самоваром.

Цикламен цвел в горшке. Лекпом нюхал. Под окном шла дорога, валялась солома. За плетнем лежал снег, и из снега торчала ботва.

Пили чай и тихонько говорили про город.

— Интересная жизнь, — восхищался лекпом, — Мери Пикфорд играет прекрасно.

Он смотрел на огонь и, чуть-чуть улыбаясь, задумывался. Брови были приподняты. Волосок, не захваченный бритвой, блестел под губой.

Перешли на диван и сидели в тени. Печка грела. Самовар умолкал и опять начинал пищать.

— Женни Юго брюнетка, — заливался лекпом и сам же заслушивался. — Она — ваш портрет.

Поджав ноги и съежившись, телеграфистка молчала. Глаза ее были полузакрыты и темны от расширившихся, как под атропином, зрачков.

— Вас знобит, — присмотрелся лекпом. — Вы простудились. Весна подкузьмила вас. — Нет, я здорова, — сказала она и застучала зубами, — может быть, форточка.

Он оглянулся и повертел головой: — Закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, перед выходом из дому — есть. — Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся, прошелся на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал романс. Мать проснулась.

На могиле летчика был крест — пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там, где хмель, была зарыта мать. — Мы к ней потом, — сказал отец, — а то мы опоздаем к волнам.

Заревел гудок. — Скорее, — закричали мальчики. — Скорее, — заспешил отец. Все побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли постоять и, подняв головы, полюбоваться на него.

Сбегали по тропинке, и гудок опять раздался. — Опоздаем, — подгонял отец. Сердца стучали, в головах отстукивалось.

Сбрасывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на землю: успели. Справа тарахтело, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков. Вскочили, заплясали, замахали шапками. Величественный капитан командовал. Шумело колесо, шипела пена, след в воде кипел. Присели, потому что с палубы смотрели женщины, и, глядя на них боком, сжали себе руки коленями.

— Шлеп, — набежала первая волна. — Скорей! — все бросились. Река была как море. — Ух, — кричали люди и подскакивали. — Ух, — кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая. — Ух, ух, — кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он мылся, и они по очереди тер-

ли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и двигал мускулами: вечером он должен был отправиться к Любовь Ивановне. Он думал: — Но зато я не плохой отец.

Назад шли медленно. — А то купанье, — говорил отец, — сойдет на нет. — Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Оборачивались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались. Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой потемнел.

— Вы подождите здесь, — сказал отец у липы. — Я приду. — Они уселись, сняв картузики, и взялись за руки. Пищал комар.

Кусты сливались, черные. Верхи крестов высовывались из них. Хмель светлелся. Здесь отец остановился и стоял без шапки. Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать?

А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. В разбитое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться. Стало хорошо, когда пришел отец.

Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь.

Петров с наслаждением вздохнул продушенный воздух и, сосчитав ожидающих, сел. Ладислас извинился, отлучился от бреемого и задвинул задвижку. — Я успел, — посмеялся Петров и подумал, что это к хорошему.

Парикмахеры брили в молчании — устали, спешили и не отпускали учтивостей. Звякали ножницы. Рождество наступало. Колокола были сняты и не гудели за окнами. — Пи, — басом пищал иногда и, тряся улицу, пробегал грузовик.

Петров не читал. Он — просматривал. Он уже изучил эту книгу с изображенными на каждой странице ладонями. Он кончил ее вчера вечером и, закрыв, присел к зеркальцу и вспомнил стишки, которые когда-то разучивал в школе:

исполнен долг, завещанный от бога
мне, грешному.

Подбритый и подстриженный, он вышел. Он благоухал. Усы, бородка и завитушки меха на углах воротника покрылись инеем. Высокая луна плыла в зеленом круге. Жесткий снег переливался блестками. Как днем, отчетливы были афиши на стенах. Петров уже читал их: показательный музей «Наука» с отделениями гинекологии, минералогии и Сакко и Ванцетти снизил цены.

Маргарита Титовна жила недалеко. Петров смеялся. Как всегда, она шмыгнет в другую комнату, мать будет ее звать, она придет, зевая и раскачиваясь, и состроит кислую гримасу. Не смущаясь, он задержит ее руку, повернет ладонью вверх,

прочтет, что было и что будет, кого надо избегать. Она заслушается... — Маргарита Титовна, — пел мысленно Петров, ликуя и покачивая станом.

Громко разговаривая, пробежали под руку два друга в финских шапках. — Я ей сделал оскорбительное предложение, — услыхал Петров, — она не согласилась. — Он задумался: она не согласилась — предзнаменование, пожалуй, неблагоприятное.

И правда: Маргариты Титовны не оказалось дома. — У музей ушодчи, — посочувствовала мать. — Ко всенощной теперь не мода, — посмеялась она. — Да, — вздохнул Петров. — Мышь одолела, — занимала его мать беседой: — Я на крюк в ловушке насадила сало: уж теперь поймается.— Поймается, — похохотал Петров.

Шаги визжали. Провода и ветви были белы. Церкви с тусклыми окошками смотрели на луну. Музей сиял. Прелестные картины, красные от красных фонарей, висели возле входа. Умерла болгарка, лежа на снегу, и полк солдат усыновляет ее дочь. Горилла, раздвигая лозы, подбирается к купающейся деве: «Похищение женщины». Петров шагнул за занавеску и протер очки. — Билет, — потребовал он, посучил усы и тронул бороду и хиромантию, выглядывавшую из кармана.

ПОЖАЛУЙСТА

Ветеринар взял два рубля. Лекарство стоило семь гривен. Пользы не было. — Сходите к бабке, — научили женщины, — она поможет. —

Селезнева заперла́ калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась.

Предчувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники.

Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли — с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками и в шапках со значками, гордые, прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них: ей платили сорок рублей в месяц, им — рассказывали, что шестьсот.

Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали. — Тетка, эй, — кричали мальчуганы и катились на салазках по́д ноги.

Дворы внизу, с тропинками и яблонями, и луга и лес вдали видны были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка, с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку, и в шинели, отворила ей.

— Смотрите на ту сосенку, — сказала бабка,— и не думайте. — Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке. — Вот соль, — толкнула Селезневу бабка, — вы подсыпьте ей...

Коза нагнулась над питьем и отвернулась от него. Понурясь, Селезнева вышла. — Вот вы где, — сказала гостья в самодельной шляпе, низенькая. Селезнева поздоровалась с ней. — Он придет смотреть вас, — объявила гостья. — Я — советовала бы. Покойница была франтиха, у него все цело — полон дом вещей. — Подняв с земли фонарь, они пошли, обнявшись, медленно.

Гость прибыл — в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником. — Я извиняюсь, — говорил он и, блестя глазами, ухмы-

лялся в сивые усы. — Напротив, — отвечала Селезнева. Гостья наслаждалась, глядя.

— Время мчится, — удивлялся гость. — Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн.

— Сестры,—

— посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв.

наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз.
— Братья,—

— раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Селезневой, чтобы и она не отставала:

раскройте друг другу объятья:
пройдены годы страданья и слез.

— Прекрасно, — ликовала гостья. — Чудные, правдивые слова. И вы поете превосходно. — Да, — кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой. — До свиданья, — распростились наконец.

Набросив кацавейку, Селезнева выбежала. Мокрыми пахло. Музыка неслась издалека. Коза не заблеяла, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе.

Рассвело. С крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила с ним. — Да она жива, — войдя в сарай, сказал он. Селезнева покачала головой.

Мальчишки побежали за санями. — Дохлая коза, — кричали они и скакали. Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку.

— Здравствуйте, — внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся, в котиковой шапке из покойницыной муфты, и блестел глазами. Его щеки лоснились. — Ворота у вас настежь, — говорил он, — в школу рановато, дай-ка, думаю. — Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво. — Пла́чу и рыдаю, — начал напевать он, — едва вижу смерть.— Потупясь, Селезнева прикасалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали на рукава. Ворона каркнула. — Ну что же, — оттопырил гость усы. — Не буду вас задерживать. Я вот хочу прислать к вам женщину: поговорить. — Пожалуйста, — сказала Селезнева.

САД

Делегаты окружного съезда союза медсантруд сидели на скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали ноги и блаженствовали.

Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя набок головы. — А в будущем году еще прекрасней будет, — говорил садовник Чау-Динши. Растроганные делегатки окружили его. — Можете пустить фонтан? — просили они.

Чернякова посмеялась, глядя на них. — Ишь,— сказала она. В красном галстуке, в кудряшках над

морщинами, она сидела под акацией. — Господин китаец, что я вам скажу, — подозвала она. — Сегодня будем хоронить Таисию, уборщицыю: вы, пожалуйста, уже. — С огромным удовольствием, — ответил Чау-Динши, и она встала и пожала ему руку. — Мы надеемся, — простилась она и, сорвав травинку, повернулась и пошла, мурлыча.

Поэтесса Липец встретилась ей, и она остановилась и любезно поздоровалась: — Мое почтение, товарищ Липецковая, куда спешите?

Обмахнув скамейку, поэтесса Липец села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:

гудками встречен день. Трудящиеся

— и она, под плеск фонтана, декламировала их.

Чернякову ждали неприятности. Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей. Она заголосила. — Это кучер доказал, — сказала она.

Гроб с Таисией прибыл из больницы. Кучер привязал вожжами лошадь и пришел сказать. Управделами отпустил конторщиц проводить Таисию. Построились за гробом. Чернякова, поправляя галстук, встала с профуполномоченным, за ними встали регистраторша с курьершей, а за ними — машинистки: Закушняк и Полуектова. — Но, — крикнул кучер и, держа концы вожжей, пошел рядом с телегой. Загремели по булыжникам колеса. Профуполномоченный взмахнул рукой, шесть голосов запели. Чау-Динши прошел по саду с колокольчиком и выпроводил посетителей. Он за-

пер на замок калитку и догнал процессию. Чернякова оглянулась на него. Пенсионерка Закс, постукивая палкой, подскочила к нему и спросила, кто покойница. — Уборщица окрэспеэс, — ответил Чау-Динши любезно. — Знаю я ее, — сказала радостно пенсионерка Закс. — Я с ней служила вместе, когда я была секретарем союза работпрос. — Она посеменила, чтобы попасть в ногу, и запела, подымая голову, как курица, глотающая воду. Солнце жарило. Пыль набивалась в рты.

Таисию засыпали. Вскочив на дроги, кучер укатил. Девицы побежали. Секретарь союза медсантруд дал им по делегатскому талону на обед в столовой — надо было захватить места, пока не набрались сезонники. Пенсионерка Закс, попрыгивая, шла с китайцем. Чернякова возвращалась с профуполномоченным.

— Товарищ профуполномоченный, — учтиво говорила она, — на меня доказывают, но подумайте, какая моя ставка: двадцать семь рублей.

В окрэспеэс уже никого не было. Один отсекр окрэмбеит, товарищ Липец, инженер-электротехник, еще сидел. Он подал заявление о прибавке и начал каждый день задерживаться. Он держал газету: был его портрет, его статейка и стихотворение его дочери:

гудками встречен день. Трудящиеся.

Чернякова заперла все двери и смотрела на него. — Товарищ Липецков, — почтительно сказала она, проведя ладонью по губам, — я уж пойду, а то сезонники наскочат. Ключ повесьте в телефонной, если милость ваша будет: у меня там ключевая соберительница, кассыя ключевая.

Было жарко. Тротуар размяк. Телеги, подвозившие кирпич к постройкам, громыхали. Регистраторша, курьерша, машинистки Закушняк и Полуектова уже поели и плелись распаренные, ковыряя языком в зубах. Они перемигнулись с Черняковой. — Хорошо? — спросила она и заторопилась. Образованные люди чинно ели, отставляя пальцы и гоняя мух. На кадках пальм было выведено «Новозыбков». На стенах висели зеркала. Напротив Черняковой интересный кавалер любезничал с девицей. — Вы и сами лимонады, — наливая ей стаканчик, говорил он, — только красненькие. — Неужели я такая красненькая? — удивлялась она. — Ишь ты, — посмеялась Чернякова и, доев, утерла губы галстуком и вышла, повторяя этот разговор.

Стараясь обогнать друг друга, ей навстречу, бородатые, неслись сезонники. В окрэспеэс она открыла окна. Воздух ворвался. За крышами видны были луга, стада пестрелись, голые мальчишки бегали вдоль речки. Чернякова подоткнула юбку, засучила рукава и начала уборку. — Вы такие красненькие, — говорила она, делала приятную улыбку и смеялась.

Перестали грохотать телеги. Конартдив, резерв милиции и ассенобоз по очереди проскакали к речке: подымалась пыль и затемняла солнце. Тусклое, оно спускалось к кепке памятника. Сад был полон. Женщины стояли у фонтана и бродили вокруг клумб. Мужчины, развалясь, в рубашках из «туаль-дю-нор», сидели. Волейбольщики

скакали, отбивая головами мяч. Пенсионерка Закс ходила за китайцем.

— Я воображаю, как вам скучно с нами, — говорила она. Чернякова подошла и слушала с участием. — Умерлá Таисия, — сказала она, кашлянув. Побагровели облака и побледнели. Съезд союза медсантруд закрылся и запел «Вставай». Цветы запахли. Громкоговоритель закричал «Алло». Темно стало, присматривать за посетителями стало трудно. Чау-Динши прошелся с колокольчиком. Он запер на замок калитку и пошел к Прокопчику. Пенсионерка Закс и Чернякова провожали его. Фонари покачивались тихо. Запах сена прилетал с лугов. В окне у оптика стояли гипсовые головы в очках, и в их глазах то загоралось электричество, то гасло. — Господин китаец, это красота, — сказала Чернякова. — Замечательные вещи, — согласился Чау-Динши. Пенсионерка Закс, насупившаяся, простилась. — Не подумайте, что я устала, — предостерегла она.

Костры плотовщиков горели у реки. Луна всходила. Золотые буквы водной станции окрэспеэс блестели. Поздние купальщики плескались в темноте. Прокопчик сосал трубку. Он был рад гостям. — Мое почтение, — приветливо здоровались они, — как поживаете? — и жали ему руку. — Прилетела культотдельша, — рассказал он, — требовала, чтобы все были в трусах. — Качали головами и смеялись. В городе горели огоньки. Вода журчала. — Кучер на меня доказывает, сукин сын, — пожаловалась Чернякова. — Эх, — сказала она, заиграла на губах и завертелась, грохоча. Мужчины ей подтопывали. Галстук разлетался.

вы такии
красенькии,—

выводила она и трясла боками, топоча, и вскрикивала.

Поэтесса Липец, обратив лицо к луне, прогуливалась, и ее отец, отсекр окрэмбеит, прогуливался вместе с ней. Они прогуливались, отсмотрев спектакль, делегатские билеты на который получили от секретаря союза медсантруд. Шарф поэтессы Липец развевался. Глядя вверх, она покачивала головой и декламировала тихо:

гудками встречен день. Трудящиеся.

ПОРТРЕТ

1

Как всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина.

Он тряс над тазом самовар и, как всегда, любезно пошутил, кивнув на мои ведра: — Фызькультура.

Как всегда, раскланявшись с маман, мы вышли, и в воротах, распахнув калитку, отец, галантный, пропустил меня. По тени я увидела, что горблюсь, и выпрямилась.

Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. Старики сидели на завалинках. Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, разбрызгивались. Как всегда, на повороте, тронув козырек, отец откланялся.

Четыре четырехэтажных дома показались, площадь с фонарями и громкоговорителями. Подоткнув шинели, бегали солдаты с ружьями,

бросались на землю и вскакивали. Стоя на крыльце и переглядываясь, канцелярские девицы их рассматривали. Шляпы отражались в полированных столбах.

Хваля погоду, мы уселись. Счеты стали щелкать. В кофте «сольферин» прошла товарищ Шацкина и осмотрела нас. Передвигалось солнце. Тень аэроплана пробежала по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики.

После обеда, кончив мыть, маман переоделась и, в перчатках, чинная, отправилась.

— Мы выбираем дьякона, — остановилась она и взглянула на меня и на отца внушительно.

— Прекрасно, — похвалили мы.

Отец, прищурившись, шелестел газетой. Ветви перекрещивались за окном. В конюшне за забором переступала лошадь.

Постучались гостьи и, расстегивая выхухоль на шее, радостно смотрели на нас кверху, низенькие. Брошь-цветок и брошь-кинжал блестели. — Я иду сказать маман, — сбежала я.

Она, торжественная, как в фотографии, сидела в школе. Старушенции шептались. Кандидат на дьяконскую должность, в галифе, ораторствовал.

— Я из пролетарского происхождения! — восклицал он.

Разноцветные, с готическими буквами, висели диаграммы: мостовых две тысячи квадратных метров, фонарей двенадцать, каланча одна.

— А вы учились в семинарии? — поднялась маман. Я позвала ее.

Затягивались лужицы в следах. Выскакивали люди без пальто и шапок, закрывали ставни. Мальчуганы разговаривали, сидя на крыльце, и их коньки болтались и позвякивали.

Улица Москвы, по-старому — Московская, шумела. Рявкали автобусы. Извозчики откидывали фартуки. Взойдя на паперть, я взяла билет. Стояли пальмы. Рыбки разевали рты. Топтались кавалеры, задирая подбородки и выпячивая бантики. Я терлась между ними.

Ричард Толмедж был показан в безрукавке и коротеньких штанишках. Он лечился от любви, и врач его осматривал.

— Милашка Ричард, — улыбались мы и взглядывали друг на друга, сияя.

Сверх программы — музыкальные сатирики Фис-Дис трубили в веники. — Осел, осел, — кричали они, — где ты? — и отвечали: — Я в президиуме Второго Интернационала.

Наскакивая на прохожих, я гналась за ним. — Послушайте, — хотела крикнуть я. Он шел, раскачиваясь, невысокий, с поднятым воротником и в кепке с клапаном.

Отец остановил меня. Он тоже убежал от го́стий. — Ричард мил? — спросил он, и по голосу я видела, как он приподнял брови: — И идеология приемлемая?

Узкая луна блестела за ветвями. На тенях светлелись дырки. Дикие собаки спали на снегу.

— Да, да, — кивала я, не слушая... Тот, в кепке, — в толкотне у двери он ощупывал меня.

Маман, с полузакрытыми глазами, с полотенцем на плече, перемывая чашки, улыбалась. Гостьи только что ушли — сапожной мазью еще пахло.

— Вот, — снисходительно сказала нам маман, — вы ничего не знаете. Поляки взяли Полоцк. Из Украины пришло письмо — она решила не давать нам мяса.

Как всегда, мы сели. Кошка, тряся стул, лизала у себя под хвостиком. Отец шуршал страницами. Маман, посмеиваясь, пришивала кружево к штанам. Я перелистывала книгу. Анна Чилляг, волосастая, шагала и несла перед собой цветок. Поль Крюгер улыбался. Это — гостьи принесли.

2

На крыльце, таинственный, хозяин задержал нас. — Подрались, — сказал он. — Луначарский двинул Рыкову.

Мы вышли. Лужицы темнелись у ворот. Вытягивая шеи, куры пили. Пробегали кавалеры и посвистывали. Их прически выбивались. Капельки блестели на плечах. Мальчишка мазал стены, прилеплял афиши и разглаживал: «Митрополит Введенский едет. Есть ли бог?»

Отец откланялся. Аэроплан жужжал. Флаг развевался, прикрепленный за углы, и небо между ним и древком синелось.

К надписи над театром проводили электричество. Монтер, приставив к глазам руку, шел по крыше и раскачивался, невысокий. «Это он», — подумала я. — Что там? — спрашивали у меня, остановясь. Меня толкнули. Лаком для ногтей запахло. Выгнув бок, кокетливая Иванова в красной шляпе поздоровалась со мной. Я сделала приятное лицо, и мы отправились.

— Весна, — поговорили мы.

В двенадцать, когда, взглядывая в зеркальце, положенное в стол, она закусывала, я подъехала к ней. Колбаса лежала на газете. «И избил, — прочла я, — проходившую граж-

данку по улице Москвы». Я кашлянула скромно.

— Вы будете на вечере? — спросила я.

Все были приодеты. Благовония носились. К лампочкам были привязаны бумажки. Хвоя сыпалась. Подшефный середняк сидел с товарищ Шацкиной и кашлял.

Выступали физкультурники в лиловых безрукавках, подымали руки, волоса под мышками показывались. Хор пел.

Балалаечники, поводя глазами, забренчали. Мы покачивались на местах, приплясывая туловищами.

Товарищ Шацкина, довольная, оглядывала нас: — Хорошо, — зажмуривались мы и хлопали ладошками. Содружественная часть подтопывала.

— тихо,

— Как когда я была маленькая, завертелся вальс, —

кругом,
и ветер на сопках рыдает.

— Я пойду на лекцию, — перестав смотреть на дверь, сказала Иванова, — нет ли там чего, — и вытащила пудру: озеро с кувшинками и лебедь.

Подмерзло. Две больших звезды, как пуговицы на спине пальто, блестели. Над театром, красные, окрашивая снег на площади и воздух, горели буквы. Люди в кепках проходили.

Я — приглядывалась к ним.

Сад цвел на сцене. Нимфа за кустом белелась,

прикрывая грудь. Митрополит Введенский возражал безбожнику губернского значения Петрову.

Мы рассматривали зрителей. Отец сидел, зевая. Он кивнул мне. — Гостьи, — объяснил он.

— Вот он, — засияла Иванова и толкнула меня: Жоржик с электрической увидел нас.

— Электрик, — рекомендовался он мне.

— Выйдемте, — сказала Иванова и в фойе, отсвечиваясь в мраморных стенах, под пальмой упрекала его. Он оправдывался, задирая брови. — Я хотел прийти, — в чем дело? — говорил он, — но, представьте, прачка подвела. — А ну вас, — отворачивалась Иванова томно.

Препираясь, мы спустились к улице Москвы. Бензином завоняло. Невский вспомнился — с автомобильными лучами и кружащимися в них снежинками.

От бакалейной, наступая на чужие пятки, мы шагали до аптеки и повертывались. Милиционериха стояла скромно, в высоко надетом поясе. Встряхнулась лошадь, и бубенчик вздрогнул.

— Пушкин, где ты? — говорили впереди. Конфузясь, Иванова прыскала. — Товарищи, — солидно сказал Жоржик. — Неудобно. — На́ плешь, — оглянулись на него.

Снимая шапку, он раскланивался. — Доброго здоровья, — восклицал он. Я — присматривалась.

У больших домов отец догнал меня. Он что-то говорил, смеясь, и пожимал плечами. Я поддакивала и хихикала, не вслушиваясь. Было пусто в переулках. Вырезанные в ставнях звезды и сердца светились.

— в магазине Кнопа,

— пели за углом.

Маман была оживлена. Сапожной мазью и помадой пахло. Библия лежала на столе.

— Все, все предсказано здесь, — радостно сказала нам маман и посмотрела значительно.

3

Маман прислушалась. — Идут, — вскочила она и концами пальцев обмахнула грудь — как стряхивают крошки.

Как всегда, мы вышли переждать под грушами.

Кулич был виден. Цинерария стояла на окне.

Христос,

— задребезжали в доме. Запах церкви прилетел. Кругом звонили. Кошка, глядя вверх, следила за аэропланами. Затопотали по ступенькам. Духовенство, надевая шляпы и качая талиями, спускалось, и маман, величественная, с крыльца кивала ему.

Прибыли хозяева и поздравляли. — Милости прошу, — усаживала их маман. Все улыбались.

— Я к больным, — сказал отец. Я тоже улизнула. Вилки и ножи стучали вслед.

Гуляли семьи. Маленькие дети спали на руках. Колокола звонили. «Праздники, — расклеены были афиши, — дни есенинщины».

Гостьи семенили, горбясь, — торопились к нам, в роскошных кофтах и в чалмах из шалей. Я свернула в садик, нелюбезная.

Шуршали листья — прошлогодние. Травинки пробивались.

— В Пензе, — разговаривали на скамье, — все женщины безнравственны.

Подкралась Иванова, ткнула меня пальцем и сказала: — Кх. — Она благоухала. Коленкоровые фиалки украшали ее.

— Я тянула счастье, — засмеялась она.

Хлопала калитка. Совработники в резиновых пальто входили. Щелкнув сумкой, мы смотрелись в зеркальце. Часы пробили. — Знаю, — встала Иванова, — где он.

Громкоговорители на площади хрипели. Кавалеры в новеньких костюмах, положив друг другу руки на плечи, толпились над лотками. Яйца стукались. В окне светился транспарант с цитатой, и веревка, унизанная красными бумажками, висела. Мы вошли. Засаленными книжками воняло. Подпершись, библиотекарша сидела за прилавком. Дама в профиль красовалась на ее воротнике.

— У вас щека запачкана, — сказала Иванова.

— Это от пороха, — ответила она и посмотрела гордо.

Общество друзей библиотеки заседало — Жоржик и стеклографистка Прохорова. В голубом, она жевала что-то масляное, и ее лицо блестело.

Жоржик был рассеян. Вдохновенный, он ерошил волосы. «Проклятие тебе, — раскрашивал он надпись, — мистер Троцкий». Вежеталем «Виолетт де Парм» пахло.

— Лозгуны́? — приблизившись, спросила Иванова мрачно. Я посторонилась. «Виринея» и «Наталья Тарпова» лежали на рекомендательном

столе. В газете я нашла товарищ Шацкину: она идет в рядах, — «Прочь пессимизм и неверие», — несет она плакатик, — «Пуанкаре, получи по харе», — реет над ней флаг.

Дождь хлынул. Отворилась дверь. Все посмотрели. — Гришка с огородов, — объявила Прохорова.

Невысокий, он стоял, отряхивая кепку с клапаном...

Из главной комнаты, присев на стул, на нас смотрела подавальщица. Мы чокались, стесняясь. На столах были расставлены бумажные цветы.

— За ваше, — подымал галантно Жоржик и опрокидывал. — Жаль, — горевал он, заедая, — что здесь не разрешают петь: как дивно было бы. — Да, — соглашались мы, а подавальщица вздыхала в другой комнате и говорила: — Запрещёно.

— Вы чуждая, — сказала Прохорова, — элементка, но вы мне нравитесь. — Я рада, — благодарила я. Тускнели понемногу лампы. Голоса сливались. Откровенности и дружбы захотелось. Иванова встала и пожала Прохоровой руку. — Я иду, — бежала я тогда.

Прильнув к окну, хозяева подслушивали. Цинерария бросала на них тень. За занавеской ложки звякали, маман солидно рассуждала, гостьи, умиленные, поддакивали ей.

Я уходила, спотыкаясь. — Набралась, — оглядывались на меня. Хихикнув, совторгслужащие говорили шепотом: — Кабуки. — Громкоговорители наигрывали.

В театре, как всегда, стреляли. Чистильщик сапог укладывал свой шкаф. Мороженщики, разъезжаясь, грохотали.

Шум стоял на улице Москвы. На паперти толпились кавалеры, покупая семечки.

В фойе чернелись пальмы. Рыбки разевали рты. Гремел оркестр. Зрители приваливались к дамам. Али-Вали отрéзал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.

— Не чудо, а наука, — пояснил он. — Чудес нет.

Мы переглядывались в изумлении. У дверей толкались. Зашипев, взвилась ракета. Звезды над аптекой вздрагивали.

Я одна осталась. В темноте отзванивали. Щелкали по башмакам шнурки.

Украинская труппа топотала, вскрикивая: — Гоп. — Губернский резерв милиции раздевался, сидя на кроватях.

Сонные собаки подымали головы. В разливе отражались какие-то огни.

На огородах было тихо. Ничего не видно было. Сыростью прохватывало.

4

Груши падали, стуча. Хозяева выскакивали и, бросаясь, схватывали их. По приставленной к забору лестнице они перелезали на соседний двор и возвращались с яблоками: юс толленди.

Почтальонша отворила дверь и крикнула. Я приняла газету. Циля Лазаревна Ром меняла имя. Буржуазная картина «Генерал» обругивалась: почему не северянина изображает Бестер Китон?

— С праздником, — пришла маман. Демонст-

ративно посмотрела и, вздыхая, сунула свой поминальник за горчичницу.

Деревья были желты. Листья приставали к каблукам.

Рахиля,

— напевал меланхолично чистильщик. Его фуфайку распирали мускулы. В разрезе ворота чернелись волоса. Шнурки для башмаков, повешенные за один конец, качались.

вы мне даны.

В саду Культуры клумбы отцвели. «Желающие граждане купить цветы, — не сняты были доски, — можно у садовника». Фонтанчик «гусь» поплескивал.

Борцы сидели, подбоченясь. В модных шляпах, они напоминали иностранцев из захватывающих драм. Гражданки, распалясь, вставали и подрагивали мякотями.

В цирке щелкал хлыст. Мелькали за открытой дверью лошади. Наездница подскакивала.

Прохорова вышла из буфета с чемпионом мира Слуцкером. Они дожевывали что-то, и ее лицо блестело.

Ивановой не было. Общественница, она работала в комиссии по проводам товарищ Шацкиной.

Кружок военных знаний занимался за акациями. — Самый, — хмурил брови лектор, — смертоносный газ — забыл его название — начинается на хве. — Карандаши скрипели.

Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике

«юнгштурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый.

— Теплый день, — поговорили мы и помолчали. Прохорова, вероломная, была видна ему. — А подмораживало уж, — сказала я. — Действительно, — ответил он, — температура превышала.

— Осень, — попрощались мы.

На улице Москвы толпились — ожидались похороны летчика. Зеленый шар мерцал в аптеке. На окне стоял флакон с Невой и Крепостью.

Автобус загудел. Сквозь стекла пассажиры посторонними глазами посмотрели на нас. Они — ехали.

Обоз с картошкой прибыл. «Наш ответ китайским генералам», — пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее.

Хозяин, отставляя руку, нес в жестянке керосин. — За Иордан? — осклабясь, как всегда, полебезил он.

Звери в балагане вскрикивали. Музыкант с букетом на груди отзванивал на водочных бутылках.

«Мост опасен», — предостерегала надпись. Рыболовы, молчаливые, вертели ручки удочек с накручиваньем. Прачки с красными ногами наклонялись над водой. Ракиты осыпáлись.

Паутина облепила кочки на лугу. Бродили гуси. Черепа и кости были нарисованы на электрических столбах.

Я села у большого камня, про который знала из газеты, что его желательно использовать при установке памятника. Узенькие листья плыли.

Новые дома, белеясь на горе, блестели стекла-

ми. На огородах кочаны круглелись, как зелененькие розы.

Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркались в трусиках. Потом посбрасывали их и бегали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через голову.

Я поднялась бледнея. Это он был — не монтер, не Гришка, а тот самый, с клапаном.

— Послушайте, — хотела крикнуть я.

— Сфотографировать? — спросил он расторопно, повернулся, наклонился и дотронулся до сгиба. — Вот портрет, — сказал он, показав ладонь.

Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой.

СТАРУХИ В МЕСТЕЧКЕ

1

Белобрысая двенадцатилетняя Иеретиида, в синем платье и черном фартуке, прискакивая, несла на плече лопату. За ней, сложив на выпяченном животе костлявые руки, величественно шла Катерина Александровна — в широком черном платье с белыми полосками и маленькой черной шляпе с креповым хвостом. Сзади, неся пеструю метелку из перьев, коробку с веером и зонтик, выступала Дашенька — сорокалетняя, черная, грудастая и чванная.

На балконе, распаренная, толстомясая, в голубом капоте с кружевами, сидела Пфердхенша и пила кофе с пфеферкухеном. Ее ноги загораживала вывеска:

АПТЕКА ФОН ПФЕРДХЕН

худ. Цыперович

Катерина Александровна двинула губами и стала смотреть вдаль; Дашенька, задрав голову, глазела: Пфердхенша — развратница.

Свернули вправо и по мостику с вывесочкой «мост опасен» вышли в зеленую улицу с серыми тропинками.

Иеретиида загляделась на девчонку, которая бежала против ветра, держа над головой распяленную наволочку. Катерина Александровна пристально смотрела на графинин парк с булыжниковым забором.

Тщедушный акцизный, в длинной желтой ситцевой рубахе, копался в палисаднике. Тощая акцизничиха, в синем балахоне, босая, наливала лейку. Катерина Александровна прищурилась: они — с легкими идеями.

Под откосом купались мальчишки. Медленно плыли плоты. Черная корова, стоя в воде передними ногами, обмахивалась хвостом.

Гаврилова сидела на крыльце. Увидя, что идут, поднялась и ушла в дом: она недавно бросилась в колодец и теперь — стыдилась.

Катерина Александровна скрипучим голосом окликнула Иеретииду, свернули вправо и по тропинке между огородами пошли на кладбище.

Около могилы развели два маленьких костра — от комаров. Дашенька почистила скамью метелкой. Катерина Александровна уселась, посидела, посмотрела на памятник с портретом старичка в медалях и эполетах. Костры засыпали.

Возвращались по другой дороге. За полем началась графинина булыжниковая стена. Проходя мимо ворот, Катерина Александровна повернула голову и смотрела на двор с круглой клумбой и белый фасад с закрытыми окнами: никого не увидела.

У калитки сквера она отпустила Дашеньку и Иеретииду и, с полузакрытыми глазами втягивая сладкий воздух, вошла под цветущие липы. Дорожки приводили на площадку с четырьмя скамейками. Сбоку, в полосатой будке — белой с красным, грызя орехи, сидела Роза Кляцкина.

Вокруг нее были расставлены бутылки с квасом. Цыперович, в коричневой бархатной куртке, скрестив руки на груди, стоял снаружи и, принимая позы, заглядывал в Розины глаза.

Фрау Анна Рабе, в кисейном платье с синими букетиками, приятно улыбаясь, вышла на площадку из другой аллейки. Перед ней бежала моська Цодельхен. Катерина Александровна, обмахиваясь веером и придерживая креп, расположилась с фрау Анной так, чтобы не видеть Розы и Цыперовича. Цодельхен, пощипывая травку, бродила около.

Солнце садилось за липами. Темная зелень казалась прозрачной. Ветер, замирая, шевелил не поместившиеся в прическу волоски. Балюль, с прыщеватым лицом, прошмыгнул, согнувшись. — Должно быть, из палаццо, — сказала фрау Анна. Катерина Александровна моргнула. — Да, ведь графиня, кажется, приехала... Скажите, дорогая Анна Францевна, вы с ней знакомы?

— Когда мой Карльхен был жив, он в палаццо лечил, тогда я тоже была с ними знакома. Но когда они мне фанатисмус показали, тогда я с ними больше не знакома.

Она стала рассказывать, как Карльхен умирал, а граф Бонавентура уговаривал его принять католицисмус. — Это был целый шкандал, и мы с графинем Анном не есть теперь очень приятные. — Катерина Александровна поспешно встала и простилась.

2

Дул теплый, мокрый ветер, дорога почернела. Катерина Александровна шла от обедни. — Этот ветер, — говорила она, — дует с моря. Чувствуе-

те — пахнет солью и парусиной. Мне нравится, как сказано в Деяниях: «ветер бурный, называемый Эвроклидон».

Перед костелом были сани из палаццо. — Дашенька, Иеретиида, идите — я вернусь... забыла...

Креп, пришитый к шляпе, взвивался и вытягивался, бил по лицу. Нос покраснел, текли слезы. Подползли нищие и, голося, протягивали руки. Рослая старуха, в красной шубе, с четками на шее, курносая, вышла из костела. Катерина Александровна лизнула губы и рванулась. — Графиня! Вас ли я... вот случай! — Прошем дать дорога, — прогнусавила графиня.

Снег хрустел под подошвами. Солнце грело нос и левую щеку. Белые дымки подымались над крышами. Таяла утренняя луна. — Смотрите, Дашенька и Иеретиида, — показала Катерина Александровна. — Склонилась, будто над разбитыми мечтами. — Что и говорить, — ответила Дашенька.

Трещала канарейка, собачонка Эльза грелась на подушке у горячей печки, на полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. — Горячо любимая Анна Ивановна, — сказала Катерина Александровна, — поздравляю вас с днем ангела.

Уселись на диване под стенным ковром с испанкой и испанцами. Именинница, сияя, гладила коротенькими пальцами атласную ленту на своем капоте. — Акцизничиха — слышали? — вернулась. Пряталась у Гавриловой. Как вы находите? Я позвала Гаврилову к обеду: будет рассказывать. — Ах, эти легкие идеи...

— Графиня разъездилась: вчера два раза проехала, сегодня проехала.

— Точно в покоренном городе, — сказала Катерина Александровна.

Гости, с красными лицами, хлопали глазами. — Уже укладывалась спать, — рассказывала Гаврилова, — вдруг стук. Является. — Пустите пожить. Сестра пришлет денег, уеду в Калугу. — Пока говорили, вокруг ножищ натаяла лужица. Дальше — хуже. Тут начнет донимать «Кругом Чтения»: — Вы когда родились? — А мое рождение первого апреля. Так и отвечаю. — Так давайте, — говорит, — почитаем «Круг Чтения» на первое апреля. — Ах, чтоб тебя! К счастью, денежек у ней было не много, а от сестры, конечно, шиш, никакого ответа, она и вернулась.

Катерина Александровна, торжественная, в черном шелке, отодвинула изюм, поднялась, отерла рот и прочувствованным голосом сказала: — Бедная вы моя Прасковья Александровна. Сколько вытерпели вы от этой негодницы... Горячо любимая моя, я полюбила вас. Примите мою дружбу. А ведь вы — сестра моя: я тоже Александровна. — Ее губы дрогнули. Она подумала: «И я такая же одинокая, как вы».

Анна Ивановна обняла Гаврилову и громко целовала. Фрау Анна Рабе встала и, приятно улыбаясь, поднесла Гавриловой букетик резеды. Попадья и становиха чокнулись с Гавриловой и крикнули «ура». Она, вспотевшая, клала руку на сердце и раскланивалась.

— Я с отрадой вижу, — заскрипела Катерина Александровна, — как единодушно мы сейчас настроены. Хотелось бы, чтобы в таком единодушии мы навсегда и остались... Перед нами разъезжают точно в покоренном городе. Объединимся и дадим отпор. — Гости слушали, повеся головы, и сквозь кофейный пар глядели на нее мутными глазами. —

Что ж, Анна Ивановна, — спросила почтмейстерша, — зелененький столик расставили или расходиться будем? — Да, пора, я вижу, — сказала Катерина Александровна и, величественная, заколола под подбородком свою шаль. — Прасковья Александровна, пойдемте. Вы посидите у меня, поговорим...

Темнело. Пахло снегом. В конце улицы, где синяя туча обрывалась, на небе светлелась желтая полоска. Катерина Александровна молчала. Гаврилова была оживлена, покачивалась.

3

В палисаднике у фрау Рабе зацвели маргаритки. Из Петербурга приехала Марья Карловна с семьей: три маленькие девочки с косичками и нянька. Катерина Александровна встретила их у калитки. — Ах, Мари, — сказала она, — как я рада. Иди, ложись, а потом поговорим подробно. — Она присела к столику и записала на бумажке, что спрашивать и что рассказывать. После чаю пригласила Марью Карловну пройтись и, выйдя за калитку, посмотрела на свою записку. — Ну, Мари...

— Тетечка, — сказала Марья Карловна, — мы их еще объединим.

Светлели голубые и зеленые промежутки между облаками. Из палисадников пахло жасмином. Купальщики возвращались с побледневшими лицами и мокрыми волосами. Над Пфердхеншиной крышей виднелась маленькая белая звезда.

На следующий вечер, вымыв чайную посуду, Марья Карловна оглядела свою вертлявую фигурку и, проведя ладонями по кофте и белой поло-

тяной юбке, накинула на голову шарф. — Иду.

Стали ездить в лодках — с едой и гитарами, толпой ходить в лес. Возвращаясь, заходили в сквер, где на эстраде играли четыре музыканта с длинными носами. Требовали гимн. Все вставали и снимали шапки. На минуту становилось тихо. Потрескивали в тишине фонарики. Роза Кляцкина, грызя орехи, вставала в будке. Звучала торжественная музыка, кричали «ура» и «повторить».

Катерина Александровна мало участвовала в этих развлечениях. Она обдумывала завещание. Каждый день после обеда она взбиралась на гору, поросшую твердой травой с желтыми цветами, и бродила перед расписной часовней: Ирод закусывал с гостями... Перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса на цыперовичевской вывеске. Катерина Александровна бродила между кострами и смотрела на дорогу: не появится ли маленькое шествие, не идет ли графиня Анна с ксендзом Балюлем и двумя старухами в красных пелеринах. Оставив старух внизу, где Дашенька и Иеретиида тихонько напевают и ищут одна у другой в голове, графиня взобралась бы, опираясь на ксендза, и дала бы ему знак остановиться, а сама бы подошла и наклонила голову. Катерина Александровна сказала бы: — Здравствуйте, графиня.

Прикладывались. Духовное лицо держало крест и восклицало: — Слава тебе, боже, слава тебе, боже. — Дашенька и Иеретиида запирали в шкаф возле свечного ящика подушку для коленопреклонений и ковер. Катерина Александровна, поджидая их в притворе, ела просфору. К ней подошел зеленоватый старичок в коричневом пальто: Горохов, председатель городского

братства святого Александра Невского, наслышан о деятельности...

Сидели в сквере. Катерина Александровна, без шляпы, в широком белом платье с черными полосками, отмахивалась веером и улыбалась. Горохов, пришепетывая, рассказывал о братстве, как оно ходило с крестным ходом, послало телеграмму в Царское Село, устроило концерт и вызолотило большое соборное паникадило. Катерина Александровна, поигрывая веером, смотрела на деревья. — Непременно, непременно, — уговаривал Горохов. — Заказали бы хоругвь, и она хранилась бы у вас в гостиной, а в процессиях развевалась бы над головами — подумайте, какая красота? Пройдемтесь, — пригласила Катерина Александровна..

Шли вдоль речки. Пахло клевером. — Часовня, — обрадовался Горохов, — Иоанн Креститель! Вот вам и название: братство святого Иоанна. — Катерина Александровна сказала: — Оттуда недурной вид.

Возвращались. Голубоватое небо стало лиловым и розовым. Обернулись и посмотрели на два красных овала — над речкой и в речке. Осветились красным светом желтые лица и седые головы. — Катерина Александровна, — напыщенно вскричал Горохов. — Это зрелище двух солнц не говорит ли о двух братствах? Святой Александр и святой Иоанн! Это прекрасно. — Но Катерина Александровна думала не о двух братствах, а о двух дамах: величественные, в светлых платьях, розоватых от вечерних лучей, они смотрят с горы и, растроганные, произносят отборные фразы...

В городе открывали памятник. Дамы, разодетые, поехали. Горохов встретил на вокзале. — Катерины Александровны нет? Вот жалость! Влады-

ка хотел поговорить с ней насчет братства. Имели бы свою хоругвь — ах, какая красота...

Он разместил их у решетки, за которой стояло под холстиной что-то тощее. — Я боюсь, — кокетничала становиха, — вдруг там скелет.

Кругом были расставлены солдаты. Золотой шарик на зеленом куполе ослепительно блестел и, когда зажмуришься, разбрасывал игольчатые лучики. Затрезвонили. Нагнувшись, вылезли хоругви и выпрямились. Сияли иконы, костюмы духовных лиц и эполеты. Епископ в голубом бархатном туалете с серебряными галунами приблизился к решетке. Сдернули холстину. На цементном кубике стояла, кверху дулом, пушка, а на ней орел в короне. — Прелесть, прелесть, — щебетали дамы, отклоняясь от брызг святой воды, и растопыривали локти, чтобы ветер освежил вспотевшие бока.

За угощением в палатке было очень оживленно. Ручались, что война начнется завтра или послезавтра. Соображали, куда бежать. — Хорошо вам, фрау Анна: скажете им, будто родились в каком-нибудь Берлине, и конец. — Это надо врать? — спросила фрау Анна. — Никогда не врала. «Господи, а я куда деваюсь», — думала Гаврилова.

— Поеду с вами в Петербург, — сказала Катерина Александровна, выслушав от Марьи Карловны доклад. — Я и так собиралась. Здесь опротивело — не с кем слова сказать.

Накрывали ужин и стучали вилками. Катерина Александровна стояла на веранде. — В Петербург!.. Бредешь по ротам и видишь синий купол с звездами. Тащатся к варшавскому вокзалу сонные извозчики с корзинами в ногах. Из харчевен воняет горелым. Старухи плетутся ко всенощной — в ротондах, в расшитых стеклярусом мантильях...

Луна стояла над забором, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской. — Анна, Анна, ты не захотела, чтобы я отдернула завесу, которою ты от меня закрыта...

Война не начиналась. Приехал муж Марьи Карловны. Ходил на речку загорать. Возвращаясь, выпивал у Розы Кляцкиной бутылку квасу. Под Иванов день Анна Ивановна дала праздник. На яблонях висели бумажные фонарики. Играли музыканты из сквера. Перед садом прогуливалось все местечко. Телеграфист со станции жег бенгальские огни, все освещалось, и мальчишки на улице громко читали заборные надписи.

4

Анна Ивановна и Марья Карловна сидели в цветнике у фрау Анны Рабе. — Целый вечер я на фисгармониуме канты играла, — рассказывала фрау Анна. — Тогда совсем темно стало, и я фисгармониум закрыла и пошла немного на крыльцо стоять. На небе было много звездочки, я голову подняла и смотрела. Это есть так интересно — я видела кашне и разную посуду, много разные горшки, кастрюльки. Я была счастливая, стояла и смеялася. Приходит Лижбетка: — Вы видели Цодельхен? — Нет. — И вот, сегодня ее нашли за огородом в крапиве.

— Да, — сказала Анна Ивановна, смотря на затянутый фасолью забор. Сегодня Цодельхен, завтра Эльза, а там... — Она замолчала и подняла глаза на серенькое небо. Марья Карловна вздохнула и закивала головой.

— Карльхен ее так любил... После обеда он

идет немного посмотреть свои больные, наденет свою шляпочку — он имел такую маленькую шляпочку с зеленым перышком. Цодельхен — с им вместе. Я поливаю грядки, присматриваю на кухне. Тогда вдруг гавкает этот собачка — Карльхен есть на углу и машет своим шляпочком...

Фрау Анна наклонила голову. Гостьи, опустив глаза, молчали. С клумбы пахло левкоями. Чай остывал в трех чашках... Застучали дроги, стали, все подняли головы. Хлопнула калитка, и по обсаженной сиренью дорожке прибежал муж Марьи Карловны.

— Катерины Александровны здесь нет? Война объявлена. Приехали со станции, и вот...

Дамы встали. — Катерина Александровна на горе, — сказала Марья Карловна, — обдумывает завещание. Беги.

— Так тиха сегодня твоя земля, господи. Проехали со станции, прогремели, и опять тихо. Вон какие-то верзилы купаются и не горланят... Дорога к палаццо лежит под деревьями как мертвая... Вспоминается осенний вечер: темнело, было тихо, два узких листика висели на тонкой ветке, маленькие купола с белесоватой позолотой тянулись к серенькому небу...

— Катерина Александровна, война объявлена!

Катерина Александровна перекрестилась. — Спускайтесь, я подумаю. — Через минуту она сошла. — Идемте. — Дашенька и Иеретиида шагали сзади. Из садов пахло яблоками.

Съели по куску хлеба с маслом. Катерина Александровна поправила прическу и надела цепь. Марья Карловна пригладила ладонями кофту и надела на девочек белые платья. Ее муж взял Катерину Александровну под руку. — Тетечка, вы с ним, я с детьми — перед вами. Дашенька — впе-

реди, с флагом. Иеретиида пойдет сзади... Около Пфердхенши будем кричать «долой Германию». — Катерина Александровна сказала «с богом», вытянули лица, Иеретиида отворила калитку, Марья Карловна взмахнула руками, как регент на клиросе, запели «боже, царя храни» и вышли за заросшую ромашкой улицу.

Гаврилова и ее дачница дочистили крыжовник. Гаврилова перекрестилась: — Ну, в час добрый. — Вытерли бумагой шпильки и воткнули их на место, в волосы. Сполоснули руки и сбежали под откос — купаться. — Мальчишки, убирайтесь!

Темнело. Обрыв на другом берегу был желто-красный, как будто на него светил закат.

Наплавались и, скрестив руки, тихо стояли в темной воде. — Погодите-ка, что за история? — Дачница выскочила, натянула рубаху и побежала. — Война объявлена, — задыхаясь, крикнула она и стала одеваться. Народищу... акцизный с флейтой!.. — Гаврилова одна стояла над водой, спешила и трясущимися пальцами путалась в тесемках.

Брянск,
Губпрофсовет

СОДЕРЖАНИЕ

Добычин Л. И.

Д57 Город Эн; Рассказы /Подгот. текста, сост., вступ. статья В. Ерофеева; Худож. А. Семенов. — М.: Худож. лит., 1989. — 222 с. (Забытая книга).

ISBN 5-280-01289-0

В книгу Леонида Ивановича Добычина (1896—1936) вошли автобиографический роман «Город Эн», по форме представляющий дневник школьника, а по сути, как писал критик Г. Адамович, резкостью и объективностью напоминающей сатиру Щедрина; рассказы из двух сборников: «Встречи с Лиз» и «Портрет».

Д $\frac{4702010201-355}{028(01)-89}$ без объявл. **ББК 84Р7**



ЗАБЫТАЯ КНИГА

Леонид Иванович Добычин

ГОРОД ЭН

РАССКАЗЫ

Редакторы Ю. Розенблюм, О. Ларкина

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор И. Филатова

ИБ № 5988

Сдано в набор 22.02.89. Подписано к печати 07.08.89. Формат $70\times100^{1}/_{32}$. Гарнитура «Журнальная». Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,07. Усл. кр.-отт. 18,46. Уч.-изд. л. 8,15. Тираж 100 000 экз. Изд. № 1-3475. Заказ 124. Цена 70 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.


70 к.